This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG3328
Z7R4
1908

STANFORD
LIBRARIES
P15-100

Dostoevskii

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКІЙ,

zak propoviednik khristianskago vozrozhdenia

какъ проповѣдникъ христіанскаго возрожденія

i

и

vselenskago pravoslavia

вселенскаго православія.

Изданіе Религіозно-философской Библіотеки.

МОСКВА
ПЕЧАТНЯ А. И. СНЕГИРЕВОЙ
ОСТОЖЕНКА, САВЕЛОВСКІЙ ПЕР., СОБ. Д.
1908.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

5225.

Оглавленіе.

Стр.

Введеніе 3

Достоевскій, какъ проповѣдникъ христіанскаго возрожденія.
Архіепископа Антонія (Храповицкаго).

Глава I. О чемъ писалъ Достоевскій 9
„ II. Служеніе и служители возрожденія 14
„ III. Возрождающее вліяніе одной воли на другую . 22

Достоевскій, какъ проповѣдникъ вселенскаго православія.
Влад. С. Соловьева.

Глава I. 37
„ II. 44
„ III. 51

Изъ писемъ Л. Н. Толстого къ Н. Н. Страхову [1]).

„На дняхъ я читалъ „Мертвый Домъ“. Я много забылъ, перечиталъ, и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тонъ, а точка зрѣнія удивительна: искренняя, естественная и христіанская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера цѣлый день, какъ давно не наслаждался. Если увидите Достоевскаго, скажите ему, что я его люблю“.

„Я никогда не видалъ этого человѣка (Ѳ. М. Достоевскаго) и никогда не имѣлъ прямыхъ отношеній съ нимъ; и вдругъ, когда онъ умеръ, я понялъ, что онъ былъ самый близкій, дорогой, нужный мнѣ человѣкъ. И никогда мнѣ въ голову не приходило мѣряться съ нимъ, никогда. Все, что онъ дѣлалъ (хорошее, настоящее, что онъ дѣлалъ), было такое, что, чѣмъ больше онъ сдѣлаетъ, тѣмъ мнѣ лучше. Искусство вызываетъ во мнѣ зависть, умъ тоже, но дѣло сердца — только радость. Я его такъ и считалъ своимъ другомъ и иначе не думалъ какъ то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдругъ читаю — умеръ. Опора какая-то отскочила отъ меня. Я растерялся, а потомъ стало ясно, какъ онъ мнѣ былъ дорогъ, и я плакалъ и теперь плачу“.

Изъ слова на могилѣ Ѳ. М. Достоевскаго [2]).

„Достоевскій любилъ живую человѣческую душу во всемъ и вездѣ, и вѣрилъ онъ, что мы всѣ *родъ Божій*, вѣрилъ въ безконечную силу человѣческой души, торжествующую надъ всякимъ внѣшнимъ насиліемъ и надъ всякимъ внутреннимъ паденіемъ. Принявъ въ свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолѣвъ все это безконечною силою любви, Достоевскій во всѣхъ своихъ твореніяхъ возвѣщалъ эту побѣду. Извѣдавъ *божественную* силу въ душѣ, пробивающуюся черезъ всякую человѣческую немощь, Достоевскій пришелъ къ познанію Бога и Богочеловѣка. *Дѣйствительность* Бога и Христа открылась ему во *внутренней* силѣ любви и всепрощенія, и эту же всепрощающую благодатную силу проповѣдывалъ онъ какъ основаніе и для внѣшняго осуществленія на землѣ того царства правды, котораго онъ жаждалъ и къ которому стремился всю свою жизнь“.

---

[1]) I томъ собр. соч. Достоевскаго. Спб. 1883 г., стр. 67 и 69.
[2]) Сказано 1-го февраля 1881 года.

ВВЕДЕНІЕ.

Жизненный подвигъ Достоевскаго [1]).

Счастливъ тотъ, кто могъ и кто умѣлъ любить:
Печальный тернъ его прочнѣй, чѣмъ лавръ героя,
Святого подвига его не позабыть
Толпѣ, исторгнутой изъ мрака и застоя.
На скорбь его вездѣ откликнутся друзья;
И смерть его вездѣ смутитъ сердца людскія,
И въ часъ разлуки съ нимъ, какъ тѣсная семья,
Надъ нимъ заплачетъ вся Россія!

Надсонъ.

Когда хоронили Достоевскаго, многочисленная толпа провожала траурную колесницу на кладбище, и, по описаніямъ современниковъ, толпа эта была самаго различнаго состава: учащаяся молодежь, студенты и курсистки разныхъ спеціальностей, офицеры и дамы, юноши и старики, такая же разнообразная толпа, какъ та, которая восторженно рукоплескала за полгода предъ тѣмъ Пушкинской рѣчи съ проповѣдью о всечеловѣкѣ, когда общее напряженіе восторга разрядилось обморокомъ неизвѣстнаго молодого человѣка близъ каѳедры, у ногъ Достоевскаго. Что же соединило эту толпу и породило этотъ до боли доходящій, мучительный энтузіазмъ любви и благодарности за рѣчь, которая шла въ разрѣзъ всѣмъ ходячимъ мнѣніямъ и предразсудкамъ, которая кичливыхъ и самодовольныхъ звала къ покаянію (смирись, гордый человѣкъ! смирись праздный человѣкъ! такъ восклицалъ къ русской интеллигенціи Достоевскій)? Конечно, и въ похоронной процессіи и на Пушкинскомъ праздникѣ было очень мало политическихъ сторонниковъ Достоевскаго, да и вообще были люди самыхъ различныхъ политическихъ мнѣній. Были сломаны, значитъ, политическія перегородки, обычно

[1]) Заимствовано изъ рѣчи проф. С. Н. Булгакова, прочитанной на вечерѣ въ память Ѳ. М. Достоевскаго въ Кіевѣ, 25 февраля, 1906 г. (Свобода и культура, № 1, стр. 19—25).

раздѣляющія людей; общій энтузіазмъ испепелилъ ихъ кажущуюся крѣпость! Мало было и такихъ, которые подозрѣвали дѣйствительные размѣры литературнаго и философскаго генія Достоевскаго. Вѣдь, по совѣсти говоря, его слѣдуетъ причислить къ величайшимъ писателямъ и величайшимъ мыслителямъ всѣхъ временъ и народовъ. Вѣдь предъ легендою о Великомъ Инквизиторѣ и вообще философскими главами „Братьевъ Карамазовыхъ“ (и другими его страницами) блѣднѣетъ — говорю это съ полнымъ убѣжденіемъ — Фаустъ, Гете и мистеріи Байрона; вѣдь въ романахъ Достоевскаго, нужно прямо сказать, заключено гораздо больше подлинной философіи, нежели въ десяткахъ томовъ профессоровъ философіи и вообще школьныхъ ея представителей. Достоевскимъ были предугаданы и такія своеобразныя и симптоматическія явленія европейскаго сознанія, какъ Ницше, и не только предугаданы, но и гораздо ярче и сильнѣе выражены (вспомните галлерею ницшеанскихъ типовъ: Раскольниковъ, Кирилловъ, Ставрогинъ и Иванъ Карамазовъ). Пониманіе общаго значенія Достоевскаго въ этомъ смыслѣ до сихъ поръ остается удѣломъ немногихъ и кромѣ того, въ этомъ я тоже глубоко убѣжденъ, вполнѣ еще вообще недоступно пока никому — и раскроется лишь будущимъ временемъ.

Чѣмъ же, стало быть, былъ дорогъ Достоевскій этой разношерстной толпѣ, какая интимная связь породнила его съ тѣми, кто, не раздѣляя вовсе его вѣры, его мнѣній, не можетъ проникнуть и во всю сложность его духовной жизни? Очевидно, эта привязанность относится болѣе къ человѣку, чѣмъ къ литератору и художнику; очевидно, она основывается на болѣе глубокомъ фундаментѣ, нежели литературныя симпатіи или политическія мнѣнія, которыя складываются иногда въ силу чисто логическихъ переживаній. Отъ сердца къ сердцу и отъ совѣсти къ совѣсти идетъ эта незримая связь, она проходитъ въ тѣхъ глубинахъ, гдѣ скрыта связь матери и ребенка, брата и сестры, ближайшихъ друзей. И, мнѣ кажется, въ этомъ покоряющемъ обаяніи именно и нужно искать разгадки тайны души Достоевскаго, не въ литературѣ, а въ томъ, что стоитъ за литераторомъ и иногда имъ даже заслоняется и маскируется — въ человѣкѣ, т. е. въ

его сердцѣ. Больное, любящее и страдающее сердце,—вотъ святыня, предъ которою преклоняются всѣ колѣни, и вотъ то, что влечетъ къ Достоевскому чрезъ всѣ разногласія съ нимъ, непониманіе и предразсудки. Достоевскому былъ данъ истинно человѣческій и единственно человѣческій даръ — даръ страданія во имя любви къ людямъ, даръ страданія и крестъ страданія. Если бы мы не были такіе эгоисты, если бы мы не были заняты постоянно своими мелкими личными дѣлами, то покой и счастье стали бы навсегда невозможны для насъ. Стоитъ только открыть глаза и уши, прислушаться къ голосамъ этого міра, мы услышимъ отъ всѣхъ временъ и народовъ, отъ прошлаго и настоящаго, нестерпимый стонъ, проклятія, жалобы, плачъ дѣтей, мы почувствуемъ, что земля подъ нами пропитана кровью, и весь этотъ міръ и вся исторія есть одна мучительная трагедія. Мы не можемъ вынести и вмѣстить этого, мы слишкомъ любимъ себя и свой покой, и только потому мы живемъ въ относительномъ покоѣ. Этого мало: въ мѣру своего собственнаго развитія, мы начинаемъ понимать не только физическія, но и духовныя страданія, которыхъ не подозрѣвали ранѣе: простому человѣку муки Фауста, Раскольникова или Ивана Карамазова представляются блажью. Слышать и понимать, а, слѣдовательно, и раздѣлять и нести на себѣ всѣ скорби и грѣхи *всего* міра есть дѣло Бога, и мы приближаемся здѣсь къ страшной тайнѣ Геѳсиманской ночи, кроваваго боренія и пота. Но къ священной оградѣ Геѳсиманскаго сада, изъ котораго есть только одинъ путь—на Голгофу, приближается всякій въ мѣру своего страданія за другихъ, безкорыстной, самоотверженной скорби и боли за человѣка. И близко, ближе многихъ другихъ, подошелъ къ ней Достоевскій, и это то и почувствовала въ немъ своими не окаменѣвшими еще сердцами молодежь. Достоевскаго, этотъ „жестокій талантъ“, который принялъ въ свою душу и муки Раскольникова, и страданія Сони, и стыдъ Мармеладова, и горе Екатерины Ивановны, и слезы замученныхъ дѣтокъ, и тоску Карамазова, и бѣдныхъ людей, и униженныхъ и оскорбленныхъ, и каторжниковъ и аристократовъ, Достоевскаго, который и насъ мучитъ этой своей мукой, исторгаетъ слезы и у жестокихъ,

жжетъ своимъ огнемъ, этого Достоевскаго не въ состояніи искренно отвергнуть человѣкъ; онъ можетъ отъ него заслониться, не допустить его до своего сознанія, но святыни этого человѣческаго страданія и любви къ человѣку онъ не можетъ сознательно отвергнуть, какъ не можетъ сознательно отвергнуть и Того, Кто мучился за людей и молился въ тьмѣ Геѳсиманскаго сада. И та Голгофа, которая была въ сердцѣ у Достоевскаго, тотъ крестъ, который былъ въ немъ воздвигнутъ, вотъ что повелительно склоняетъ насъ предъ Достоевскимъ.

Крестнымъ путемъ, чрезъ страданіе каторги, чрезъ грязь и черноту жизни, чрезъ распахнувшіяся для него бездны человѣческаго сердца и муки пришелъ Достоевскій къ Тому, Кто весь есть любовь, и, однажды увидавъ и понявъ тайну подвига распятаго Бога, всю Его единственность и святость, онъ утвердился на Немъ, какъ на основаніи для вѣры и въ людей, и въ Бога, и въ спасеніе человѣчества. Христосъ занялъ всю его душу, да иначе этого быть не можетъ: Его можно отвергнуть, но если принять, то только всей душой. Въ посмертныхъ замѣткахъ Достоевскаго значится, между прочимъ, планъ „написать книгу объ Іисусѣ Христѣ“. Мы не знаемъ, написалъ ли бы онъ эту книгу, но въ извѣстномъ смыслѣ всѣ его книги, особенно послѣднихъ лѣтъ, написаны о Христѣ, во всѣхъ Онъ является истиннымъ, хотя и незримымъ, центромъ, иногда выступая открыто. Величайшее торжество генія Достоевскаго состоитъ именно въ томъ, что онъ, снявъ церковную позолоту и византійскую традиціонность, по новому, по-своему сумѣлъ въ своихъ произведеніяхъ дать почувствовать живого Христа; онъ ставитъ Его какъ бы среди насъ и, приближая Его, научаетъ любить Его. Неотразимой силы и паѳоса достигаетъ поэтому Достоевскій именно въ тѣхъ мѣстахъ своихъ произведеній, гдѣ появляется у него зримо или незримо Христосъ. Вспомните потрясающую сцену чтенія евангельскаго разсказа о воскресеніи Лазаря въ „Преступленіи и наказаніи“, гдѣ „убійца и блудница сошлись за чтеніемъ вѣчной книги“, и гдѣ до глубочайшаго дна распахиваются вдругъ глубины грѣшной и скорбной человѣческой души. Вспомните главу о Канѣ Га-

лилейской въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, гдѣ тоже описывается моментъ такого душевнаго подъема, когда человѣкъ опредѣляется на всю жизнь. Вспомните, наконецъ, какъ описано появленіе Христа въ „Легендѣ о Великомъ Инквизиторѣ“,—вы какъ будто присутствуете при этомъ появленіи. И этой пламенной любовью ко Христу и опредѣлялось, въ сущности, такъ называемое міросозерцаніе Достоевскаго, его вѣра.

Не нужно думать, что легко и безболѣзненно далась Достоевскому эта его вѣра. Напротивъ, цѣною жесточайшей борьбы, отчаянныхъ сомнѣній, мукъ богооставленности („Боже мой, вскую мя еси оставилъ?“) далась ему она, и часть—конечно, только часть, ибо самаго главнаго здѣсь разсказать нельзя,—разсказываетъ онъ въ своихъ романахъ. Въ человѣческой душѣ ему были открыты такія глубины содомскаго грѣха, отъ которыхъ кружится голова, но зато—и вершины святости съ бѣлѣющими снѣгами вѣчности; вѣдомы были ему и подполье, и притонъ, и тюрьма, и монастырь. Все это открывалъ онъ, конечно, въ своей собственной, всеобъемлющей душѣ, мучительно извлекая оттуда страшные образы. Конечно, ему въ тысячу разъ легче было бы не знать о человѣкѣ того, что онъ зналъ, и не понимать того, что онъ понималъ, но ему надо было это знать и понимать, это входило въ тяжесть креста его. И вотъ въ причудливомъ и фантастическомъ соединеніи чередуются эти типы: Соня и Свидригайловъ, старикъ Карамазовъ и старецъ Зосима, Грушенька и юродивая (изъ Бѣсовъ), Алеша и Иванъ Карамазовъ, Великій Инквизиторъ и чертъ въ кошмарѣ Ивана Ѳедоровича, и все это клокотало и боролось въ немъ самомъ въ мучительной борьбѣ. И въ чисто философскихъ вопросахъ религіи предъ Достоевскимъ открывались такія бездны сомнѣнія, которыя и не снятся ходячему, беззаботному и поверхностному отрицанію, такъ что на этомъ основаніи иные считаютъ Достоевскаго атеистомъ, только страстно жаждавшимъ вѣры, но ея не нашедшимъ. Достоевскій не былъ философомъ-систематикомъ, онъ не противопоставлялъ аргументовъ аргументамъ, побивая одни другими и самъ дѣлая свой окончательный выводъ. Онъ клалъ на полотно ху-

дожественное изображеніе чувствъ и настроеній, иногда взаимно исключавшихъ другъ друга. Сказать, возвысился ли онъ самъ надъ этой борьбою, побѣдитель онъ или побѣжденный, значитъ тоже пытаться раскрыть неразгаданную тайну его, можетъ быть самую роковую и страшную тайну. Предъ концемъ жизни Достоевскій далъ самый жестокій и рѣшительный бой противоположнымъ началамъ, боровшимся въ его душѣ, въ романѣ „Братья Карамазовы“, гдѣ „бунтъ“ и „Легенда о великомъ инквизиторѣ“ чередуются съ поученіями старца Зосимы и „Каной Галилейской“, гдѣ всѣ вопросы обострены въ ужасающей степени. Этотъ романъ остался незаконченнымъ, его окончательная развязка и послѣднее слово автора унесены въ могилу, и смерть поставила свое обычное многоточіе...

Я лично не сомнѣваюсь и не сомнѣвался, что положительныя начала торжествовали въ душѣ Достоевскаго, что вѣра торжествовала надъ его сомнѣніями, хотя и не устраняла остроту ихъ переживаній. Основной и существенный аргументъ въ пользу этого мнѣнія я вижу въ томъ, что иначе Достоевскому не давалось бы изображеніе такой силы положительныхъ религіозныхъ переживаній, въ его сочиненіяхъ не появлялось бы того лика Христова, который присутствуетъ въ нихъ теперь; иначе, быть можетъ, они просто не были бы написаны; однимъ словомъ, весь тонъ, планъ, всѣ дерзанія проповѣди тогда были бы иными.

Ѳ. М. Достоевскій,

какъ проповѣдникъ христіанскаго возрожденія.

ГЛАВА I [1]).

О чемъ писалъ Достоевскій?

Ѳ. М. Достоевскій „это—типъ человѣка, который прошелъ всѣ ступени ниспаденія и возстанія, всѣ ступени отъ мысленнаго шатанія и нравственнаго блужданія, до отрицанія и преступленія, до самыхъ тяжкихъ жизненныхъ испытаній, даже до каторги; который затѣмъ сталъ не только достойнѣйшимъ и полезнѣйшимъ сыномъ отечества, но и обновленнымъ сыномъ Отца Небеснаго, потрудившись на самомъ трудномъ и высокомъ поприщѣ мысленнаго творчества, и свой безпримѣрный, по психологическому анализу, не только въ русской, но и европейской литературѣ, художественно-мыслительный геній употребилъ—на что вы думаете? По моему мнѣнію, не на что иное, какъ исключительно на глубоко-художественное разъясненіе притчи Спасителя о блудномъ сынѣ".

Никаноръ, архіеп. херсонскій и одесскій.

Достоевскій раскрываетъ въ своихъ сочиненіяхъ стройное и весьма полное міросозерцаніе: всѣ разнообразнѣйшія частности жизни и мысли, нескончаемой вереницей проходящія предъ его читателемъ, проникнуты одною нравственною идеею. Въ начертаніи безчисленныхъ типовъ изъ самыхъ разнообразныхъ областей общественнаго быта — отъ схимника до соціалиста, отъ младенцевъ и философовъ до преклонныхъ старцевъ, отъ богомолокъ до блудницъ, Достоевскій не пропускаетъ ни одной картины, ни одной, можно сказать, строки,

---

[1]) Эта и слѣдующія 2 главы представляютъ воспроизведеніе съ нѣкоторыми сокращеніями статьи архіепископа Антонія (Храповицкаго): „Пастырское изученіе людей и жизни по сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго". Казань, 1898 г., 1—38 стр.; также въ полномъ собраніи сочиненій т. III, стр. 299—341.

не привязанной такъ или иначе къ своей идеѣ. Богатство нравственнаго содержанія автора такъ обильно; такъ стремительно спѣшитъ оно излиться, что ему мало двѣнадцати толстыхъ томовъ и шестидесяти-лѣтней трудовой жизни, чтобы успѣть высказать міру желаемыя слова. Томимый жаждою этой проповѣди, онъ не успѣваетъ усовершать свои повѣсти съ внѣшне-художественной стороны и, вмѣсто обычнаго у другихъ писателей растягиванія и пережевыванія иногда малосодержательной идейки на сотни страницъ разныхъ картинокъ и типовъ, нашъ писатель, напротивъ того, громоздитъ спѣшно и сжато идею на идею, психическій законъ на законъ; напряженное вниманіе читателя не успѣваетъ догонять его глазами, и онъ, поминутно останавливая свое чтеніе, обращаетъ свой взоръ снова на перечитанныя строки—настолько онѣ содержательны и серіозны. Не малопонятность изложенія тому причиной, не туманность мысли, а именно преизливающаяся полнота содержанія, не знающая себѣ подобной во всей нашей литературѣ. Читать Достоевскаго—это хотя сладостная, но утомительная, тяжелая работа: пятьдесятъ страницъ его повѣсти даютъ для мысли читателя содержаніе пятисотъ страницъ повѣстей прочихъ писателей и вдобавокъ нерѣдко безсонную ночь томительныхъ укоровъ себѣ или восторженныхъ надеждъ и стремленій.

Та объединяющая всѣ его произведенія идея, которую многіе тщетно ищутъ, была не патріотизмъ, не славянофильство, даже не религія, понимаемая какъ собраніе догматовъ,—эта идея была изъ жизни внутренней, душевной-личной: она была не посылкой, не тенденціей, но просто центральной *темой* его повѣсти, она есть живая, близкая всякому, его собственная дѣйствительность. *Возрожденіе*—вотъ о чемъ писалъ Достоевскій во всѣхъ своихъ повѣстяхъ: покаяніе и возрожденіе, грѣхопаденіе и исправленіе, а если нѣтъ, то ожесточенное самоубійство; только около этихъ настроеній вращается вся жизнь всѣхъ его героевъ, и лишь съ этой точки зрѣнія интересуется самъ авторъ различными богословскими и соціальными вопросами въ послѣднихъ публицистическихъ произведеніяхъ. Да, это—то священное трепетаніе въ человѣческомъ сердцѣ зачатковъ новой жизни, жизни любви и

добродѣтели, которое такъ дорого, такъ усладительно для всякаго, что побуждаетъ и самого читателя вмѣстѣ съ героями повѣстей переживать почти реально волнующія ихъ чувства,—эта подготовляющаяся постепенно, но иногда мгновенно возстающая предъ сознаніемъ рѣшимость отбросить служеніе себялюбію и страстямъ, тѣ мучительныя страданія души, коими оно предваряется и сопровождается, этотъ крестъ благоразумнаго разбойника или, напротивъ, разбойника хулителя,—вотъ что описывалъ Достоевскій, а читатель уже самъ выводитъ отсюда, если не желаетъ противиться разуму и совѣсти, что между двумя различными крестами непремѣнно долженъ быть третій, на который одинъ разбойникъ уповаетъ и спасается, а другой изрыгаетъ хулы и погибаетъ. „Бѣдные Люди“, „Подростокъ“, герой „Мертваго Дома“, герои „Бѣсовъ“, Раскольниковъ и Соня, супруги Мармеладовы, Нелли и Алеша со своимъ безобразнымъ отцомъ, семья Карамазовыхъ и ихъ знакомыя женщины и дѣвушки, монахи и многочисленные типы дѣтей—вся эта масса людей добрыхъ, злыхъ и колеблющихся, но равно дорогихъ сердцу автора, разрывающемуся отъ любви, поставлены имъ предъ вопросомъ о жизни и разрѣшаютъ его въ томъ или иномъ видѣ, а если уже разрѣшили, то помогаютъ разрѣшать другимъ. Одни, напр. Неточка Незванова и ея Катя, Поленька Мармеладова, Маленькій Герой, „Мальчикъ у Христа на Елкѣ“, отчасти Нелли, а особенно Коля Красоткинъ и Илюша съ товарищами разрѣшаютъ его въ дѣтствѣ; другіе, какъ „Подростокъ“, Наташа въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, Раскольниковъ съ Соней, Димитрій Карамазовъ со Смердяковымъ, мужъ „Кроткой“ и счастливый соперникъ „Вѣчнаго Мужа“ и всѣ почти женскіе типы наталкиваются на него въ молодости или при вступленіи въ бракъ; наконецъ, этотъ же вопросъ застаетъ людей иногда въ преклонные годы, напр., Макара Дѣвушкина, „Смѣшного Человѣка“, родителя Наташи и его врага князя, Мармеладовыхъ, Версилова въ „Подросткѣ“ и Верховенскаго - отца въ „Бѣсахъ“. Уклониться отъ этого вопроса никто не можетъ въ жизни или, по крайней мѣрѣ, предъ смертью. Высокое достоинство писателя, изображающаго муки и радости духовнаго возрожде-

нія человѣка, заключается въ томъ именно, что онъ посредствомъ своего всепроникающаго анализа опредѣлилъ и тѣ важнѣйшія духовныя свойства и движенія, въ условіяхъ которыхъ происходитъ нравственное возрожденіе, и тѣ внѣшнія, т. е., отвнѣ получаемыя, жизненныя побужденія, коими человѣкъ призывается къ самоуглубленію. Онъ не ограничивается художественно-вѣрнымъ, но безпристрастнымъ описаніемъ двухъ трехъ случаевъ обращенія, какъ Левъ Толстой въ своихъ двухъ извѣстныхъ романахъ, гдѣ герои, въ родѣ Левина, Безухова и Болконскаго, подъ весьма неопредѣленными вліяніями приходятъ къ неопредѣленнымъ же результатамъ, установившись твердо только въ осужденіи прежняго себялюбія и въ рѣшимости слѣдовать сострадательному чувству. У Достоевскаго же, какъ сказано, всѣ и первостепенные и второстепенные герои вращаются около своей совѣсти и призыва къ покаянію и обновленію, какъ множество планетъ по разнымъ орбитамъ кружатся вокругъ одного солнца. Прибавимъ теперь, что поразительное богатство содержанія его многочисленныхъ повѣстей создается не разнородностью типовъ и не разностью описываемыхъ областей ихъ внутренней жизни, нѣтъ, — его планеты не многочисленны, и орбиты круговращеній остаются однѣ и тѣ же, но художникъ, рисуя въ разныхъ повѣстяхъ и въ различныхъ лицахъ одни и тѣ же типы, измѣняетъ ихъ положеніе на жизненной орбитѣ, т. е. при обращеніи ихъ къ нравственному солнцу то однѣми, то другими сторонами. Одинъ и тотъ же характеръ, но въ разныхъ положеніяхъ и возрастахъ, на различныхъ ступеняхъ своего обращенія или, напротивъ, ожесточенія, проходитъ у него сквозь десятокъ повѣстей, такъ что Раскольниковъ—это тотъ же Иванъ Карамазовъ, старый князь „Униженныхъ“ — тотъ же Ѳедоръ Павловичъ Карамазовъ и Версиловъ, мать Раскольникова и мать „Подростка“, отецъ послѣдняго и Ставрогинъ „Бѣсовъ“, мужъ „Кроткой“ и мужъ Акулькинъ въ „Мертвомъ Домѣ“, и т. д., и т. д.—все это варіанты нѣсколькихъ немногихъ типовъ. Сюжетовъ съ завязкой и развязкой у Достоевскаго тоже немного, найдется ли полтора десятка сюжетовъ и типовъ—едва ли. И если при всемъ томъ читатель не только

не замѣчаетъ повтореній и не испытываетъ скуки при чтеніи его повѣстей, а, напротивъ, тѣмъ болѣе заинтересовывается ими, чѣмъ болѣе уже успѣлъ ихъ перечитать, то ясно, что авторъ сумѣлъ съ полною жизненною правдой изобразить всю лѣстницу духовной борьбы при томъ и другомъ направленіи воли у каждаго своего типа, а это дается лишь тому, кто совмѣщаетъ въ себѣ художника со знатокомъ законовъ описываемыхъ явленій, т. е. психолога и даже теолога. Для читателя, желающаго провѣрить автора, полнота его сочиненій представляетъ особое удобство, потому что совершенно избавляетъ его отъ подозрѣнія случайнаго, индивидуальнаго характера тѣхъ или другихъ переломовъ во внутренней жизни литературныхъ героевъ, но придаетъ основоположеніямъ автора просто математическую убѣдительность: если всѣ характеры различныхъ возрастовъ, половъ и положеній, отнесясь такимъ-то образомъ къ извѣстному призыву жизни, пришли къ полной внутренней гармоніи и стали всюду вносить счастіе и любовь, отнесясь же противоположнымъ образомъ, стали на дорогѣ къ самоубійству, а со средняго пути были противъ воли сталкиваемы строемъ собственной природы, то понятно и математически неопровержимо, что первый путь есть путь правильный, единственно спасительный и т. д.

Если свести къ общимъ понятіямъ всѣ повѣсти автора, то мы получимъ совершенно ясную и въ высшей степени убѣдительную теорію, въ которой хотя почти и нѣтъ словъ: благодать, Искупитель, но гдѣ эти понятія постоянно требуются самою логикой вещей. Не ограничиваясь описаніемъ внутренней жизни возрождаемыхъ, Достоевскій съ особенною силою и художественною красотою описываетъ характеръ тѣхъ людей, которые содѣйствуютъ возрожденію ближнихъ. Настроеніе его собственнаго творческаго духа при описаніи жизни есть именно то, которое нужно имѣть пастырю, т. е. всеобъемлющая любовь къ людямъ, пламенная, страдающая ревность объ ихъ обращеніи къ добру и истинѣ, раздирающая скорбь о ихъ упорствѣ и злобѣ и, при всемъ томъ, свѣтлая надежда на возвращеніе къ добру и къ Богу всѣхъ отпавшихъ сыновъ. Эта надежда на всепобѣждающую силу хри-

стіанской истины и христіанской любви, подтверждаемая написанными у автора картинами, на которыхъ предъ непобѣдимымъ оружіемъ Христовымъ преклоняется самое ожесточенное беззаконіе, есть надежда поистинѣ святая, апостольская. Особенно важно то, что надежда эта живетъ не въ умѣ ребенка или сентиментальнаго баловня жизни, но въ душѣ много пострадавшей, видѣвшей много грѣха и много невѣрія.

ГЛАВА II.

Служеніе и служители возрожденія.

Посредствомъ какихъ свойствъ духа человѣкъ становится участникомъ этого наивысшаго служенія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ писатель даетъ или отъ своего лица, напр., въ „Снѣ Смѣшного Человѣка“, или исповѣдуетъ отъ лица своихъ героевъ общія побужденія, вызывающія избранника на проповѣдь возрожденія.

Познаніе истины и *сострадающая любовь* — вотъ главнѣйшія побужденія къ проповѣди. Писатель какъ будто видѣлъ рай Божій и созерцалъ въ немъ возрожденныхъ людей, чистыхъ и блаженныхъ, освободившихся отъ всѣхъ противорѣчій жизни совершенно скоро и просто. Съ этихъ-то высотъ общаго духовнаго блаженства взираетъ онъ на міръ грѣшный и скорбный, и въ стремительномъ порывѣ любви и слова старается возвести его къ небу; любовь эта и вѣра такъ сильна, что всѣ людскія насмѣшки безсильны предъ ними: „они называютъ меня сумасшедшимъ... Но теперь ужъ я не сержусь, теперь всѣ мнѣ милы, и даже когда они смѣются надо мною... Я бы самъ смѣялся съ ними—не то что надъ собой, а ихъ любя, еслибъ мнѣ не было такъ грустно на нихъ глядя. Грустно потому, что они не знаютъ истины, а я знаю истину. Охъ, какъ тяжело одному знать истину! Но они этого не поймутъ, нѣтъ, не поймутъ“ (XI, 118; изд. 1891 г.). Мучительно знаніе истины, когда любишь людей, не знающихъ ея, но эта мука, эта

еще увеличивали любовь къ людямъ. Достоевскій возвращается часто и съ тивопоставляя при этомъ наличное грѣ- а представляемому невинному состоянію. бѣдная, но дорогая и вѣчно любимая, ьную, любовь рождающая къ себѣ въ хъ даже дѣтяхъ своихъ, какъ и наша!... аясь отъ неудержимой, восторженной прежней *землѣ*, которую я покинулъ". шного Человѣка"). „На нашей землѣ мы ить лишь съ мученіемъ и только чрезъ не умѣемъ любить и не знаемъ иной ія, чтобъ любить. Я хочу, я жажду, въ , обливаясь слезами, лишь одну ту землю, и не хочу, не принимаю жизни никакой Эта любовь, нѣжная любовь автора къ кается между прочимъ въ томъ, что онъ въ симпатичный костюмъ самую про- самаго прозаическаго города въ Россіи, другой поэтъ:

ъ небесъ зеленоблѣдный,
а, холодъ и гранитъ.

Когда Достоевскій описываетъ петербургскіе грязные дворы, дворниковъ, кухарокъ, квартирныхъ хозяекъ, помѣщеніе интеллигентнаго пролетаріата и даже падшихъ женщинъ, то у читателя не только не образуется презрительнаго отвращенія ко всѣмъ этимъ людямъ, но, напротивъ, какая-то особенно сострадательная любовь, какая-то надежда на возможность всѣ эти убогіе притоны нищеты и порока огласить хвалебными гимнами Христу и въ этой, именно въ этой самой обстановкѣ создать теплую атмосферу нѣжной любви и радости. Здѣсь и объясненіе тому, что, не закрывая глазъ на мрачную дѣйствительность, писатель такъ крѣпко любитъ жизнь по свѣтлой надеждѣ на ея возрожденіе, жизнь именно человѣка: „Мрачная это была исторія, одна изъ тѣхъ мрачныхъ и мучительныхъ исторій, которыя такъ часто и непримѣтно, почти таинственно сбываются подъ тяжелымъ

петербургскимъ небомъ, въ темныхъ потаенныхъ уголкахъ огромнаго города, среди взбалмошнаго кипѣнія жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересовъ уличнаго разврата, сокровенныхъ преступленій, среди всего этого кромѣшнаго ада безсмысленной и ненормальной жизни" (IV, 162). Опредѣляя такъ мрачно жизнь, онъ однако потомъ смотритъ на все ея зло, какъ на недоразумѣніе (XI, 1), и пишетъ статью „О томъ, что всѣ мы хорошіе люди" (X, 45—46). Потому ли „хорошіе люди", что ихъ такъ легко обратить къ истинѣ? Нѣтъ, обратить ихъ трудно, но сама истина такъ прекрасна, сама любовь такъ привлекательна, что, какъ бы ни былъ тяжелъ подвигъ ея проповѣдника, но другого подвига, другого содержанія для жизни не пожелаетъ тотъ, кто понялъ таинство жизни, кто возлюбилъ людей. Это высокое настроеніе проповѣдника авторъ представляетъ въ данномъ разсказѣ плодомъ мистическаго озаренія, въ другомъ случаѣ оно посѣщаетъ умирающаго отъ чахотки юношу, наконецъ въ полнотѣ раскрыто это настроеніе въ бесѣдахъ старца Зосимы. Избранникъ неба настолько проникается своимъ призваніемъ, настолько тѣсно сливаетъ свою жизнь съ дѣломъ проповѣди и возрожденія людей, что всѣ недостатки, всѣ грѣхи ихъ считаетъ своими собственными, какъ доказывающіе его недостаточную ревность, отсутствіе въ немъ мудрости и святости, и вотъ почему онъ считаетъ себя виноватымъ за всѣхъ и во всемъ, готовъ даже и считать именно себя первоначальнымъ искусителемъ и соблазнителемъ человѣчества, какъ герой „Сна Смѣшного Человѣка",—готовъ принять муки за всѣхъ, какъ объясняетъ старецъ Зосима. Таковъ высокій смыслъ этой часто повторяемой мысли Достоевскаго относительно общей виновности за всѣхъ и во всемъ. Но обобщимъ сказанное о дарѣ духовнаго возрожденія: этотъ даръ достигается тѣми, кто, 1) познавъ внутреннимъ опытомъ сладость истины и общенія съ Богомъ, 2) возлюбилъ такъ много жизнь со скорбью и надеждой, что 3) совершенно потерялъ нить своей личной жизни, и умерши себѣ, 4) не чрезъ искусственную проповѣдь, но чрезъ исповѣдь, чрезъ раскрытіе своего сердца и чрезъ всю свою жизнь призываетъ братій къ покаянію и любви.

Кто же служители возрожденія?

1. Вѣрующіе церковные люди.

Для изображенія ихъ приводится типъ не только религіозный, но и прямо церковный; оно и понятно, не съ догматической только, но и съ чисто психологической точки зрѣнія: чтобы, живя среди юдоли грѣха и страданія, знать иную жизнь опытомъ собственнаго сердца, нужно знать ее, не какъ только мистическое отвлеченіе, но какъ реально дѣйствующую и помимо меня существовавшую, а слѣдовательно *непрерывно-историческую силу*, т. е. надо знать Церковь, которая научаетъ вѣрить въ свою неодолимость адовыми вратами, надо жить въ Церкви.

Таковъ у Достоевскаго старецъ Зосима, таковъ и ученикъ его Алеша, въ своей столь многосодержательной жизни, какъ бы не имѣющій никакой собственной жизни и не знающій сегодня, что онъ будетъ дѣлать завтра, но всюду насаждающій вокругъ себя миръ, раскаяніе и любовь: братья, дѣти и женщины—все смиряется въ присутствіи его любви, какъ звѣри подъ звуки Орфеевой арфы, и вся его жизнь сливается въ чудное единство Христова дѣла. Такъ и Макаръ Ивановичъ въ „Подросткѣ“—старикъ-странникъ и въ то же время моралистъ-философъ, горячо любящій людей и пекущійся объ общемъ спасеніи; упоминается о такомъ человѣкѣ (живущемъ на покоѣ епископѣ Тихонѣ) и въ романѣ „Бѣсы“.

Но что сказать о тѣхъ людяхъ, которые причастны одному изъ выше перечисленныхъ свойствъ призваннаго проповѣдника, но не успѣли доразвиться до полнаго, гармоническаго развитія остальныхъ? Отвѣтъ: и такимъ людямъ отчасти суждено имѣть вліяніе на ближнихъ, хотя далеко не столь широкое. Его не лишены даже тѣ существа, которыя, не обладая положительными свойствами избранника, свободны по крайней мѣрѣ отъ противоположныхъ имъ, но присущихъ всякому естественному человѣку пороковъ, т. е. прежде всего гордости и холодной самозамкнутости, или, какъ выражается авторъ, *отъединенности*. Таковы прежде всего дѣти и даже младенцы.

2. Дѣти.

Да, дѣти у Достоевскаго получаютъ всегда значеніе непроизвольныхъ миссіонеровъ. Эту мысль Достоевскій

воспроизводитъ такъ часто въ различныхъ повѣстяхъ, что его можно было бы обвинить въ повтореніяхъ, если бъ онъ не умѣлъ въ каждый, такъ-сказать, варіантъ этой идеи вложить новую черту, какъ новый перлъ въ великолѣпную діадему. Дитя-подкидышъ понуждаетъ „Подростка“ отказаться отъ свою горделивую идею ради состраданія къ его беззащитности, дитя смягчило злое, черствое сердце купца-фарисея въ разсказѣ Макара Ивановича („Подростокъ“), дитя Нелли примиряетъ оскорбленнаго отца съ падшею дочерью, дитя Поленька смягчаетъ убійцу Раскольникова и т. д. Наконецъ, въ послѣднія минуты жизни богопротивныхъ самоубійцъ, когда духъ ихъ окончательно возсталъ противъ Господа, Промыслъ ставитъ предъ ними на-яву, или даже въ горячечномъ бреду, облики невинныхъ страждущихъ малютокъ, которыя то на время отторгаютъ отъ злобнаго замысла, то вполнѣ возвращаютъ ихъ къ покаянію и жизни. Такова встрѣча нищаго ребенка въ „Снѣ Смѣшного Человѣка“ и такая же встрѣча въ бреду самоубійцы Свидригайлова („Преступленіе и Наказаніе“), или новорожденное дитя у Шатова въ „Бѣсахъ“. Чистота, смиреніе дѣтей, и особенно при ихъ беззащитности и страданіи, пробуждаютъ временную любовь даже въ злодѣяхъ. Невѣрующіе, какъ Иванъ Карамазовъ, въ дѣтскихъ страданіяхъ видятъ причины къ пессимистическому ожесточенію, а вѣрующіе, напротивъ, — къ примиренію и всепрощенію, какъ отецъ Илюши (въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“), простившій врага Димитрія ради страданій умирающаго малютки, котораго онъ любилъ больше всего на свѣтѣ. Самъ авторъ въ разсказѣ „Мальчикъ у Христа на елкѣ“ раскрываетъ очевидно такую мысль: если здѣсь страдаютъ даже невинныя дѣти, то конечно есть иной, лучшій міръ. Но какое же практическое значеніе можетъ имѣть для насъ указаніе на дѣтей?

Причина ихъ вліянія.

Оно значитъ то же, что Христовы слова: *„если не обратитесь, и не будете какъ дѣти, не войдете въ царство небесное“* (Мѳ. VIII, 3). У дѣтей чистота и отсутствіе самолюбія, этой причины общей отъединенности, у нихъ нѣтъ разницы между жизнію внутреннею и внѣшними проявленіями. Не желая сознательно вліять

на ближнихъ, они безсознательно достигаютъ большаго вліянія, чѣмъ взрослые, чуждые чистоты и открытости. Отъединенный погибающій человѣкъ ищетъ среди ближнихъ такого сердца, съ которымъ бы могъ сразу сродниться, слиться, которое бы не было ему чужимъ: таково сердце дѣтей—этихъ всегдашнихъ космополитовъ.

3. Люди изъ народа.

Но не имѣютъ ли взрослые тѣхъ же свойствъ—непосредственнаго смиренія, чистоты, открытости и сердечной общедоступности? Все это встрѣчается у *людей изъ народа*, и тогда они являются миссіонерами, еще сильнѣйшими: сразу становится такой человѣкъ близкимъ, роднымъ для каждаго, и свободно можетъ переливать въ него содержаніе своей души, не опасаясь со стороны научаемаго горделиваго соперничества: таковъ „Мужикъ Морей“, Макаръ Ивановичъ, Лукерья (въ „Кроткой“) и др. „Прежде всего привлекала въ немъ (въ Макарѣ Ивановичѣ), какъ я уже и замѣтилъ выше, его чрезвычайное чистосердечіе и отсутствіе малѣйшаго самолюбія; предчувствовалось почти безгрѣшное сердце. Было „веселіе“ сердца, а потому—„благообразіе“. Словцо „веселіе“ онъ очень любилъ и часто употреблялъ. Правда, находила иногда на него какая-то, какъ бы болѣзненная восторженность, какая-то, какъ бы болѣзненность умиленія,—отчасти, полагаю, и оттого, что лихорадка, по настоящему говоря, не покидала его во все время; но благообразію это не мѣшало. Были и контрасты: рядомъ съ удивительнымъ простодушіемъ, иногда совершенно не примѣчавшимъ ироніи (часто къ досадѣ моей), уживалась въ немъ и какая-то хитрая тонкость, всего чаще въ полемическихъ ошибкахъ. А полемику онъ любилъ, но иногда лишь ее употреблялъ своеобразно: видно было, что онъ много исходилъ по Россіи, много переслушалъ, но, повторяю, больше всего онъ любилъ умиленіе, а потому и все на него наводящее, да и самъ любилъ разсказывать занимательныя вещи“ (VIII, 379).

Указывая эту способность представителей народа, мы должны оградить нашего великаго писателя отъ тѣхъ обвиненій въ проповѣди невѣжества и суевѣрій, которыя весьма настойчиво и столь же неискренно бросались въ него со

стороны литературныхъ враговъ. Его учители изъ народа или изъ монаховъ всегда любители науки, и даже наукъ мірскихъ, и не унижаютъ достоинства послѣднихъ: Макаръ Ивановичъ даже телескопъ знаетъ. Самъ Достоевскій вотъ что говоритъ въ „Дневникѣ Писателя“ объ образованіи и о необходимости распространять его въ народѣ. „Въ усиленномъ, въ скорѣйшемъ развитіи образованія—вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный сознательный путь впередъ и, что важнѣе всего, путь мирный, путь согласія, путь къ настоящей силѣ... Грамотность и усиленное распространеніе ея — первый шагъ всякаго образованія“ (IX, 101, 102). Очевидно не невѣжество народа хвалится у Достоевскаго, а свобода его лучшихъ людей отъ лживой самозамкнутости и болѣзненнаго самолюбія, этихъ злѣйшихъ враговъ нашего возрожденія, увы—не замѣченныхъ культурною этикой и культурнымъ воспитаніемъ. Цѣня науку и образованіе, Достоевскій велитъ учиться у народа, но не въ смыслѣ полнаго обособленія русской жизни отъ Европы, а въ цѣляхъ, во-первыхъ, нравственныхъ, а во-вторыхъ, и общекультурныхъ, міровыхъ. Европейская культура, проникнутая мотивомъ самолюбія, не сближаетъ, но разъединяетъ, внутренно отчуждаетъ людей и народы. Способность истиннаго духовнаго объединенія со всѣми имѣетъ лишь тотъ, кто смиренъ сердцемъ. А такъ какъ смиреніе въ Россіи не есть черта личностей только, но черта народная, т.-е. внѣдряемая въ индивидуумы народною культурой, выросшей изъ православія, изъ православнаго подвижничества, то и способность духовнаго общенія имѣетъ весь русскій народъ. Послѣдняя выразилась въ геніи Пушкина, умѣвшаго художественно перевоплощаться во всѣ народности, чего не могъ дѣлать ни Шекспиръ, ни Шиллеръ. Въ этомъ содержаніе знаменитой „Пушкинской рѣчи“ Достоевскаго и вообще его ученія о всечеловѣческой миссіи русскаго народа. О ней говорить мы не будемъ, но упоминаемъ для подтвержденія той мысли, что соціальные и философскіе взгляды Достоевскаго вытекаютъ изъ морально-психологическихъ наблюденій и фактовъ, а не предшествуютъ имъ. Возвратимся къ разсмотрѣнію жизни личной.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію того, какъ смиреніе и любовь могутъ, по Достоевскому, обращать грѣшниковъ и насаждать царство Божіе, докончимъ еще обзоръ характера его миссіонеровъ: послѣ служителей Церкви, дѣтей и крестьянъ, онъ призываетъ къ этому дѣлу женщинъ.

4. Любящія и смиренныя женщины. Женщина любящая, но и смиренная—великая сила. Любовь, но лишенная смиренія, производитъ семейную муку и горе, такъ что чѣмъ сильнѣе эта любовь, не къ мужу только, но и къ дѣтямъ, тѣмъ больше отъ нея зла,—если нѣтъ въ ней смиренія. Отъ любви гордой измѣна и запой мужей, самоубійство жениховъ и страданія дѣтей: любовь Катерины Ивановны—невѣсты („Братья Карамазовы“) и Катерины Ивановны—матери и жены („Преступленіе, и Наказаніе“), любовь Лизы дочери и невѣсты, любовь Грушеньки, „Кроткой“ или Нелли („Униженные и Оскорбленные“), Кати („Неточка Незванова“), жены Шатова („Бѣсы“) и всѣхъ гордыхъ натуръ, есть источникъ зла и ненужныхъ страданій. Напротивъ, любовь смиренныхъ и самоуниженныхъ—источникъ мира и покаянія. Таковы мать Раскольникова и Соня, которую даже арестанты начали обожать, угадавъ въ ней сердце смиренное и сокрушенное; такова мать Наташи („Униж. и Оскорб.“) и мать „Подростка“, безногая сестра Илюши („Братья Карамаз.“), „Неточка Незванова“, мать Алеши Карамазова и многія другія. Онѣ не стремятся съ силою настаивать на своемъ, но любовью, слезами, всепрощеніемъ и молитвой почти всегда добиваются покаянія и обращенія любимыхъ ими мужей, родителей и дѣтей. На трудномъ шагѣ отреченія отъ прежней жизни ихъ любимцы и любимицы вдохновляются примѣромъ этого постояннаго самоотреченія, какъ бы впитываютъ въ себя силу къ самоотреченію, а любовь исполненнаго смиренія существа дѣлаетъ самый подвигъ прежняго гордеца сладостнымъ.

5. Возрожденный. Пятымъ миссіонеромъ у Достоевскаго является самъ возрожденный *въ своихъ страданіяхъ*.

„*Страдающій плотію перестаетъ грѣшить*“, сказалъ Апостолъ (1 Петр. IV, 1). Всѣ почти случаи обращенія и раскаянія героевъ Достоевскаго происходятъ во время

или тяжелыхъ утратъ, или болѣзней. Разъяснять ту мысль, что *„если внѣшній нашъ человѣкъ и тлѣетъ, то внутренній со дня на день обновляется“* (2 Кор. IV, 16), мы не будемъ, ибо она слишкомъ знакома всѣмъ читавшимъ Божественное Писаніе. Практическій отсюда выводъ тотъ, что не нужно съ ужасомъ и ропотомъ смотрѣть на окружающія страданія, чужія и собственныя. Мысль эта вообще примиряетъ человѣка съ жизнью, успокоиваетъ при видѣ упорства торжествующей злобы, которая все-таки нѣкогда въ страданіяхъ своихъ дастъ доступъ покаянію, а также примиряетъ и съ нераскаянностью страдальцевъ при свѣтлой надеждѣ на будущее ихъ обращеніе, ибо „старое горе жизни человѣческой переходитъ постепенно въ тихую умиленную радость“, какъ говорилъ умирающій отецъ Зосима. Въ страданіяхъ, такъ чудесно постигающихъ человѣка въ самыя опасныя минуты его жизни, проповѣдникомъ покаянія является самъ Господь, какъ неожиданный помощникъ отчаявающихся друзей грѣшника. Истощивъ всѣ усилія къ его обращенію, послѣдніе вдругъ получаютъ желаемое, но не отъ себя, а отъ руки Божіей. Такое дивное просвѣщеніе съ особенною силою описано въ лицѣ Верховенскаго—отца и юнаго брата старца Зосимы. Идея весьма реальная и въ высшей степени отрадная для служителей Бога и любви Его, призывающая ихъ терпѣнію, смиренію и молитвѣ, по слову Апостола: *„я насадилъ, Аполлосъ поливалъ, но возрастилъ Богъ. Посему и насаждающій, и поливающій есть ничто, а все Богъ возращающій* (1 Кор. III, 6, 7).

ГЛАВА III.

Возрождающее вліяніе одной воли на другую.

Начиная рѣчь о вліяніи одной воли на другую, надо дать себѣ отчетъ въ томъ, насколько такая теорія не противорѣчитъ ученію о свободной волѣ. Отвѣтъ заключается въ томъ, что настроеніе и дѣятельность человѣка опредѣляется не однимъ только сознательно принятымъ направленіемъ его

воли, но и послѣдствіемъ его прежнихъ дѣяній, составляющихъ его „вторую природу“, а равно и первичными свойствами этой природы. Правда, воля человѣка, сознательно борясь противъ лучшихъ свойствъ своей нравственной природы и противъ сложившихся навыковъ воспитанія, можетъ современемъ подавить ихъ и сдѣлать человѣка демономъ, но такое печальное явленіе возможно лишь, какъ конечный плодъ нарочитой упорной борьбы,—обыкновенный же грѣшникъ, поддавшійся одной какой-либо злой страсти, еще далекъ отъ такого ожесточенія: у него, хотя бы въ устраненной отъ сознанія области души, мерцаетъ или, по крайней мѣрѣ, еще глохнетъ совсѣмъ иное содержаніе, ему самому или вовсе невѣдомое, или неизвѣстное во всей своей силѣ. Дѣло служителей Божіихъ въ томъ именно и заключается, чтобы вызывать наружу эти настроенія, хотя бы въ формѣ минутныхъ ощущеній, и тѣмъ показывать человѣку, что содержаніе его личности не только не чуждо добра и религіи, но по существу гораздо сроднѣе съ ними, нежели съ тою злой страстію, которой онъ сейчасъ служитъ. Это, конечно, не есть насиліе надъ свободой, ибо, какъ сказано, человѣкъ и послѣ подобнаго просвѣтлѣнія можетъ ожесточиться и возненавидѣть добро, какъ діаволъ, но все же онъ будетъ способенъ взглянуть на свою страсть извнѣ; между нею и новымъ содержаніемъ его жизни происходитъ рѣшительная борьба при ясномъ сознаніи неизбѣжнаго выбора одного содержанія предъ другимъ; какъ исцѣляемый бѣсноватый, человѣкъ становится между Христомъ и сатаною, и конечно громадное большинство съ покаяніемъ обращается ко Христу. Итакъ, миссіонеры жизни, не имѣя возможности сломить сознательную свободную волю человѣка, чего и Самъ Богъ никогда не дѣлаетъ, получаютъ, однако, способность воздѣйствовать на нравственную природу человѣка, вызывая къ жизни и сознанію таящіяся въ ней добрыя ощущенія и удаляя злыя.

И вотъ объ этой-то разности между сознательною индивидуальною волею и расположеніями нравственной природы (добрыми и злыми), постоянно дающими знать о себѣ даже и противъ желанія человѣка, Достоевскій умѣлъ говорить съ поразительной силою, особенно любя рисовать борьбу

доброй природы со злою личной волей и побѣду первой надъ послѣднею. Правда, его повѣсти вмѣщаютъ въ себѣ и обратныя явленія, когда злая природа человѣка противъ желанія выступаетъ обличителемъ quasi доброй воли, наприм., въ разсказѣ „Двойникъ“, или въ явленіи бѣса Ивану Карамазову, но чаще мы находимъ побѣду доброй природы. Здѣсь, можно сказать, шедевръ его творчества, центральный вопросъ жизни его героевъ. Цѣнность этихъ картинъ мы познаемъ однако лишь тогда, когда припомнимъ, что у него каются не Закхеи по первому глаголу Божію и не Савлы, лишь по недоразумѣнію и невѣдѣнію преслѣдовавшіе христіанъ, но каются бѣсноватые Легіоны, каются именно Разбойники, долго не бывшіе *благоразумными*. Одинъ разъ, и другой, и третій—грѣшникъ отвергаетъ раскрываемый примѣромъ и любовію друзей путь покаянія, ожесточается, богохульствуетъ—и всетаки оказывается, что добро въ концѣ концовъ плѣняетъ и такого, хотя авторъ не закрываетъ глазъ читателя предъ полною нераскаянностью многихъ въ этой жизни, оканчивающейся у нихъ самоубійствомъ. Авторъ вовсе не забываетъ, что въ нашей падшей природѣ есть злое начало: онъ подробно говоритъ въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ (III, 185) о томъ, что люди испытываютъ особенное наслажденіе мучить беззащитную невинность; его товарищи арестанты—вовсе не кающіяся Магдалины, они говорятъ съ холоднымъ цинизмомъ о своихъ преступленіяхъ, но есть, по Достоевскому, и для нихъ якорь спасенія, есть еще надежда; надежда эта—неизгладимая *совѣсть*.

Значеніе совѣсти.

Вотъ главнѣйшее, неустранимое злою волею, хотя и скрываемое, условіе для нравственнаго воздѣйствія. Совѣсть злодѣи усыпляютъ наяву, но она говоритъ во снѣ; ея голосъ подавляютъ въ сознательныхъ представленіяхъ, но она донимаетъ человѣка въ общихъ смутныхъ чуствахъ, возникающихъ по поводу представленій полусознательныхъ, и понуждаетъ его войти въ себя. Въ послѣднемъ смыслѣ особенно интересна повѣсть: „Вѣчный Мужъ“. Одинъ гордый обольститель мелькомъ увидѣлъ давно обманутаго имъ смѣшного мужа, не можетъ вспомнить его

ясно, не помнитъ и своего любовнаго преступленія, но тяжелое давящее чувство тѣснитъ его грудь, какъ кошмаръ, мерещится ему во снѣ и такимъ образомъ пробуждаетъ въ его душѣ всѣ тѣ скорбныя чувства, которыя онъ подавлялъ раньше, когда переживалъ сознательно борьбу съ ними. Такое же значеніе имѣетъ описываемый авторомъ мучительный сонный бредъ арестантовъ, старающихси убить свою совѣсть наяву (III, 15).

Вѣра именно въ силу совѣсти побуждаетъ лучшихъ героевъ Достоевскаго не довѣрять искренности атеистовъ и находить въ нихъ только желаніе совершенно отстраниться отъ Бога, а вовсе не убѣжденіе въ теоретической ложности религіозныхъ истинъ. „Безбожника — человѣка“, сосредоточенно продолжалъ старикъ, „я, можетъ, и теперь побоюсь; только вотъ что, другъ Александръ Семеновичъ: безбожника-то я совсѣмъ не стрѣчалъ ни разу, а стрѣчалъ за мѣсто его суетливаго—вотъ какъ лучше объявить его надо. Всякіе это люди; не сообразить, какіе люди; и большіе и малые, и глупые и ученые, и даже изъ самаго простого званія бываютъ, и все суета. Ибо читаютъ и толкуютъ весь свой вѣкъ, насытившись сладости книжной, а сами все въ недоумѣніи пребываютъ и ничего разрѣшить не могутъ. Идолопоклонники это все, а не безбожники, вотъ какъ объявить ихъ слѣдуетъ. Ну, а и безбожнику какъ не быть? Есть такіе, что и впрямь безбожники, только тѣ много пострашнѣй этихъ будутъ, потому что съ именемъ Божіимъ на устахъ приходятъ. Слышалъ неоднократно, но не стрѣчалъ я ихъ вовсе“ (VIII, 370, 371). Итакъ, невѣріе неискренно; вотъ почему обращеніе воли невѣрующихъ отъ зла къ добру даетъ имъ полную возможность сразу воспринять вѣру въ свое сердце, какъ Колѣ Красоткину или брату о. Зосимы. Просвѣтляющаяся подъ неуклоннымъ вліяніемъ добрыхъ любящихъ друзей совѣсть, или внутренній голосъ, какъ мы видимъ, не только осуждаетъ поступокъ не добрый, но предлагаетъ сознанію какіе-то, хотя и смутно различаемые, аккорды изъ иной, противоположной злу, жизни, или пережитой въ дѣтствѣ, или созерцаемой въ окружающихъ людяхъ. Просятся, рвутся

въ душу эти аккорды, но человѣку дорога другая страсть, съ которой имъ не ужиться—онъ это знаетъ, и вотъ онъ старается себя убѣдить въ какомъ-то особомъ, чуть ли не священномъ значеніи своей страсти—преимущественно гордости, связываетъ ее съ какимъ-либо высшимъ планомъ жизни, и такимъ-то самообманомъ, къ которому относятся и всѣ почти виды религіознаго невѣрія, отбивается отъ любви и единенія съ ближними и Богомъ. Въ этомъ смыслѣ даетъ признаніе Верховенскій—отецъ въ „Бѣсахъ“ предъ смертію: „всего труднѣе въ жизни жить и не лгать, и собственной лжи не вѣрить“ (VII, 599). Таковъ же „Подростокъ“ и „Мужъ Кроткой“ со своими „великими идеями“,—мечтатели, зараженные желаніемъ гордой мести и потому рѣшившіеся разбогатѣть хотя бы цѣною обидъ и мученія ближнихъ: таковъ Верховенскій со своими соціалистическими затѣями, Иванъ Карамазовъ съ эвдемонистическою теоріею.

Что препятствуетъ обращенію людей къ Богу.

Итакъ, *гордость*, *ложь*, и возможность мучить, или *насиліе* и *раздоръ*—вотъ враги обращенія людей къ Богу: гдѣ одно начало, тамъ и другое: ложь поддерживается въ обществѣ раздоромъ, порождая раздоръ, а сама порождается гордостью и, опираясь на нее, производитъ насиліе,—тутъ люди подпадаютъ уже подъ власть бѣсовъ. О бѣсахъ Достоевскій говоритъ слѣдующее. „Идея ихъ царства—раздоръ, т.-е. на раздорѣ они хотятъ основать его. Для чего же именно раздоръ имъ тутъ понадобился? А какъ же: взять уже то, что раздоръ страшная сила и самъ по себѣ; раздоръ послѣ долгой усобицы доводитъ людей до нелѣпостей, до затменія и извращенія ума и чувствъ. Въ раздорѣ обидчикъ, сознавъ, что онъ обидѣлъ, не идетъ мириться съ обиженнымъ, а говоритъ: „я обидѣлъ его, стало быть, я долженъ ему отомстить“. Но главное въ томъ, что черти превосходно знаютъ всемірную исторію и особенно помнятъ про все, что на раздорѣ было основано. Имъ извѣстно, напримѣръ, что если стоятъ секты Европы, оторвавшіяся отъ католичества, и держатся до сихъ поръ, какъ религія, то единственно потому, что изъ-за нихъ пролита была въ свое время кровь“ (X, 39).

Смиреніе, свобода и *искренняя открытость души*— вотъ тѣ лѣкарства, которыя должны дать людямъ современные миссіонеры. Но дать, усвоить—не значитъ только показать въ видѣ холоднаго примѣра или доказательствъ. То и другое дѣйствуетъ на сознаніе извнѣ, а потому можетъ имѣть значеніе только въ отношеніи къ такому сознанію, которое направлено къ исканію истины, все это можетъ *научить* человѣка, но не *обратить* его: сказано—ne persuadere nolenti—(не убѣждай нежелающаго), а вѣдь у насъ рѣчь-то именно о послѣднемъ. Для такого нужно прямое воздѣйствіе на его природу, чтобы не извнѣ, а изнутри возстала брань на его злую волю. Но существуетъ ли такая непосредственная связь въ природѣ разныхъ личностей?

Сострадательная любовь, какъ средство къ возрожденію людей.

Да, она существуетъ, по теоріи Достоевскаго, и выражается въ томъ началѣ, которымъ возрожденная жизнь проникается всецѣло и наполнитъ вселенную послѣ общаго суда и воскресенія. Начало это— христіанская любовь, или нравственное состраданіе. Оно-то въ повѣстяхъ нашего писателя, какъ физическая теплота или притяженіе, проникаетъ во всѣ области жизни, не зная себѣ ни въ чемъ препятствія. Медленно, но упорно пробиваетъ она ледяную кору сердецъ и преображаетъ внутреннюю природу ближнихъ просто своею собственною силою, даже безъ видимыхъ обнаруженій, создавая на днѣ ихъ душъ безсознательныя добрыя расположенія. Бьется и отвертывается отъ нея злая воля людей, думаетъ грѣшникъ, что онъ вовсе свободенъ отъ всякаго вліянія, какъ вдругъ принужденный обстоятельствами жизни вглядѣться въ свой внутренній міръ, онъ находитъ въ себѣ ужъ другую природу, какъ бы вмѣщающую нравственные облики душъ, его любившихъ, за него страдавшихъ, о немъ молившихся. Правда, и теперь онъ можетъ вооружаться противъ своего же сердца, какъ самоубійца Свидригайловъ въ „Преступленіи и Наказаніи“, но всетаки обращеніе для него теперь доступно и легко, безконечно легче, чѣмъ новое ожесточеніе. Такой именно, почти невольный, духовный слѣдъ оставлялъ на всѣхъ любимѣйшій герой Достоевскаго Алеша Карамазовъ, и притомъ не только и не столько пу-

темъ передачи какихъ-либо идей или фактовъ, но самымъ своимъ существованіемъ около нравственно-больныхъ людей въ родѣ обоихъ братьевъ своихъ, отчасти отца, дѣтей гимназистовъ и трехъ женщинъ. Всѣ они чувствуютъ его сострадательную любовь, всѣ знаютъ, что̀ хотѣлъ бы онъ имъ сказать, отъ чего предостеречь и къ чему именно призвать: какъ бы нѣкая живительная вода орошаетъ сердца ихъ въ его присутствіи, кающіеся получаютъ въ немъ нравственную опору, а упорствующіе и колеблющіеся, какъ мальчикъ Коля, старикъ отецъ и братъ Иванъ, мятутся и сотрясаются подъ лучами его любви, какъ бѣсноватые, завидѣвъ Спасителя. Эту именно мысль послѣ свиданія съ Иваномъ высказалъ Алеша. „Алеша, засыпая, помолился о Митѣ и объ Иванѣ. Ему становилась понятною болѣзнь Ивана: „Муки гордаго рѣшенія, глубокая совѣсть“! Богъ, Которому онъ не вѣрилъ, и правда Его одолѣвали его сердце, все еще не хотѣвшее подчиниться. „Да“, неслось въ головѣ Алеши, уже лежавшей на подушкѣ, „да, коль Смердяковъ умеръ, то показанію Ивана никто уже не повѣритъ; но онъ пойдетъ и покажетъ?“ Алеша тихо улыбнулся: „Богъ побѣдитъ!“—подумалъ онъ. „Или возстанетъ въ свѣтѣ правды, или... погибнетъ въ ненависти: мстя себѣ и всѣмъ за то, что послужилъ тому, во что не вѣритъ“, горько прибавилъ Алеша и опять помолился за Ивана“.

Источникъ любви—въ Богѣ, и только вѣрующіе имѣютъ ее.

Авторъ конечно не отрицаетъ вліянія рѣчей и доказательствъ, и не разъединяетъ его отъ вліянія непосредственнаго; напротивъ, и рѣчь-то его миссіонеровъ оказывается настолько приспособлена къ обращаемому, насколько проникнута бываетъ любовію. Эта-то любовь является у него сама въ себѣ могучею силою; во всякомъ большомъ романѣ описывается ея дѣйствіе; не описывается только, но и дается ключъ къ ея философскому уразумѣнію. Любовь эта въ повѣстяхъ нашего писателя есть не субъективное настроеніе только, а нѣкая міровая, Божественная сила, жизнь Божія, удѣляемая въ братолюбивыя сердца и чрезъ нихъ передаваемая любимымъ имъ. Внѣ Бога нѣтъ этой любви, и дается она только вѣрующимъ въ Его бытіе и благость; но зато въ сознаніи

вѣрующаго самымъ основнымъ закономъ бытія, единственнымъ настоящимъ бытіемъ является эта любовь. Такія именно мысли исповѣдуетъ предъ смертью просвѣтившійся старикъ Верховенскій въ немногихъ, но поистинѣ драгоцѣнныхъ словахъ къ духовнику и друзьямъ. „Друзья мои", проговорилъ онъ (Стефанъ Трофимовичъ), „Богъ уже потому мнѣ необходимъ, что это единственное существо, которое можно вѣчно любить... Мое безсмертіе уже потому необходимо, что Богъ не захочетъ сдѣлать неправды и погасить совсѣмъ огонь разъ возгорѣвшейся къ Нему любви въ моемъ сердцѣ. И что дороже любви? Любовь выше бытія, любовь вѣнецъ бытія, и какъ-же возможно, чтобы бытіе было ей неподклонно? Если я полюбилъ Его и обрадовался любви моей—возможно ли, чтобы Онъ погасилъ и меня и радость мою, и обратилъ насъ въ нуль? Если есть Богъ, то и я безсмертенъ... Одна уже всегдашняя мысль о томъ, что существуетъ нѣчто безмѣрно справедливѣйшее и счастливѣйшее, чѣмъ я, уже наполняетъ и меня всего безмѣрнымъ умиленіемъ и славой, — о, кто бы я ни былъ, что бы ни сдѣлалъ! Человѣку гораздо необходимѣе собственнаго счастія—знать и каждое мгновеніе вѣровать въ то, что есть гдѣ-то уже совершенное и спокойное счастье, для всѣхъ и для всего... Весь законъ бытія человѣческаго лишь въ томъ, чтобы человѣкъ всегда могъ преклониться предъ безмѣрно великимъ" (VII, 608—609). Любовь сама торжествуетъ и надъ смертію, какъ говоритъ у него другой умирающій: „и пусть забудутъ, милые, а я васъ и изъ могилки люблю. Слышу, дѣточки, голоса ваши веселые, слышу шаги ваши на родныхъ отчихъ могилкахъ въ родительскій день; живите пока на солнышкѣ, радуйтесь, а я за васъ Бога помолю, въ сонномъ видѣніи къ вамъ сойду.., все равно—и по смерти любовь" (VIII, 356).

По сочиненіямъ Достоевскаго выходитъ, что любящій и сострадающій, сливаясь въ духовное единство съ ближнимъ своимъ, не что либо сверхъестественное дѣлаетъ, но лишь возвращается къ утерянному грѣхомъ нашему единству въ Богѣ, которое онъ описываетъ въ „Снѣ смѣшного человѣка", изображая жизнь людей невинныхъ и святыхъ, жизнь у всѣхъ

единую, чуждую современной отъединенности каждаго. Только общая гордость, замыкающая человѣка въ себя самого, или эта часто упоминаемая *отъединенность*, дѣлаетъ для нашего помраченнаго ума непонятнымъ, невѣроятнымъ эту общность природы нашей, возстановляемую любовью святыхъ людей.

Смиренная и горделивая любовь.

Теперь ясно, почему, по Достоевскому, спасительна только смиренная любовь, а горделивая— есть причина мученій: потому именно, что гордость, какъ сосредоточеніе всего жизненнаго содержанія около одного „я“, мѣшаетъ сліянію душъ и перелитію одной жизни въ другую,—для послѣдней нужна именно свобода отъ такой ограниченности, т.-е. *смиреніе*: оно-то упраздняетъ незримое средостѣніе, стоящее между человѣкомъ и человѣкомъ, и, какъ прививка сладкой яблони къ кислой, очищаетъ душу ближняго самымъ своимъ прикосновеніемъ, какъ объясняетъ старецъ Зосима. „Предъ иною мыслью станешь въ недоумѣніи“, говоритъ онъ, „особенно видя грѣхъ людей, и спросишь себя: взять ли силой, али смиренной любовію? Всегда рѣшай: возьму смиренной любовью. Рѣшишься такъ разъ навсегда, и весь міръ покорить возможешь. Смиреніе любовное—страшная сила, изо всѣхъ сильнѣйшая, подобной которой и нѣтъ ничего. На всякъ день и часъ, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтобъ образъ твой былъ благолѣпенъ“.

Это не пантеизмъ, но сродство духовное, на почвѣ коего и Апостолы и Отцы изъясняли спасительную силу благодати въ смыслѣ именно усвоенія (Іоаннъ Дамаскинъ— „Точное изложеніе вѣры“), какъ сказано въ Посланіи къ Римлянамъ: *„яко же ослушаніемъ единаго грѣшни быша мнози, сице и послушаніемъ единаго праведни будутъ мнози“* (V, 19).

Великая идея Достоевскаго, конечно, содержится въ Божественномъ Откровеніи, но имъ именно она изложена жизненно и ясно. Значеніе этого изложенія въ томъ, что чрезъ него опредѣляется лучшее направленіе нашей любви къ людямъ, чѣмъ принято въ современной морали. Часто слышится фраза: можно разрушать заблужденія мысли, но кто

и какъ можетъ сломить злую волю? Поэтому благотворительность допускаютъ лишь вещественную. Достоевскій, призывая человѣка къ подвигамъ любви къ ближнему, говоритъ устами героевъ своихъ: „ты въ немъ новаго человѣка воскресишь“ (VIII, 394).

Смиренная, сострадающая любовь есть эта воскрешающая сила: любовь безъ смиренія—мука, приводящая къ истязаніямъ и самоубійствамъ; но и отсутствіе гордости безъ энергичнаго самоотверженія—даетъ дряблый, отвратительный и чувственно-эгоистическій характеръ, въ родѣ князя-Алеши въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, спокойно разрушавшаго счастіе семействъ ради своего наслажденія; по отзыву нѣкоторыхъ читателей это типъ болѣе антипатичный, нежели его открыто безнравственный и преступный отецъ. Никто не можетъ упрекнуть Достоевскаго въ узости нравственнаго идеала, въ проповѣди тупой покорности судьбѣ.

Состраданіе. Но что же это за третья черта—*состраданіе*, о которой мы постоянно говорили? Состраданіе есть не одно только общее чувство, сопровождающее любовь и молитву. Въ этомъ смыслѣ оно, какъ и самая любовь, есть лишь условіе возрожденія природы; еслибъ заблужденіе людей заключалось—прямо и единственно въ злой волѣ, при ясности ума и познанія, то и обращеніе производилось бы лишь соприкосновеніемъ воли противоположной, но мы уже сказали, что обольщеніе выражается не только въ гордости и раздорѣ, но и во лжи или обманѣ. Злая воля присоединяется къ ложному міровоззрѣнію, а это въ свою очередь запутываетъ мысль. Міровоззрѣніе разумѣется здѣсь не только въ смыслѣ ложныхъ философскихъ взглядовъ, но и въ смыслѣ искаженнаго воззрѣнія на людей, нелѣпыхъ пріемовъ въ отношеніяхъ семейныхъ, принципіальнаго охлажденія къ отечеству и т. д. Правда, при общемъ покаянномъ настроеніи человѣкъ самъ можетъ въ концѣ концовъ выпутаться изо всѣхъ этихъ путъ мысли и чувства, но и здѣсь его предупреждаетъ любовь именно сострадающая. Злая воля не безучастна въ каждомъ заблужденіи, но часто заблужденіе и ожесточеніе порождено главнымъ образомъ чрезъ

обманъ, а обманъ силенъ именно тогда, когда содержитъ долю истины. Трагедія въ отношеніяхъ такого человѣка къ другимъ людямъ заключается въ томъ, что они другъ друга не понимаютъ, какъ герои „Бѣсовъ“ не понимали просвѣтленнаго Шатова. То состраданіе, о которомъ мы говоримъ, заключается, по Достоевскому, именно въ способности понять человѣка, проникнуть въ то доброе, что у него есть, и оцѣнить его, освобождая его отъ примѣси лжи.

Значеніе широкаго образованія.

Вотъ для сего-то и нужна кромѣ смиренной любви еще и сила ума и широта образованія, почему и лучшіе воители добра – даже и монастырскіе монахи — являются у Достоевскаго людьми не только съ тонкою отзывчивостью, широчайшею терпимостью и чуткимъ пониманіемъ людей, но и надѣленными глубокимъ и всестороннимъ образованіемъ. Они находятъ общіе идеалы и съ Иваномъ Карамазовымъ, и съ крестьянами, и съ барышней-дворянкой, — всякій въ нихъ находитъ себѣ сродныхъ по уму и по сердцу. Они какъ-то умѣютъ совершенно врости въ человѣка, распростереться со всѣми его мыслями, со всѣми фибрами его души, всего его поднять къ истинѣ и любви. Для сего нужно знаніе, нужна ученость.

Но учиться и знать недостаточно: большая ученость сама по себѣ не есть не только ручательство за пониманіе мотивовъ и симпатій людей, но нерѣдко является опорой для ихъ собственныхъ заблужденій. Иванъ Карамазовъ и Версиловъ люди образованные, талантливые и по природѣ симпатичные, но внутренно чужіе для всѣхъ и каждаго. Очевидно, имъ недоставало какого-то существеннаго условія для пониманія людей и жизни. Тутъ уже нравственный процессъ, или духовное дѣланіе — должны совершиться прежде въ душѣ самого проповѣдника, чтобы потомъ охватить и обращаемыхъ.

Итакъ, состраданіе есть снабженная знаніемъ человѣка и его идей способность внутренняго самоотожествленія съ человѣкомъ, радостное сліяніе со всѣмъ въ немъ добрымъ и скорбь обо всемъ зломъ. Здѣсь именно сказывается ловецъ человѣковъ.

Достоевскій на Пушкинскомъ торжествѣ.

Всѣмъ извѣстно, что самъ Достоевскій на себѣ самомъ блестяще оправдалъ это требованіе, примиривъ на Пушкинскомъ праздникѣ западниковъ и славянофиловъ въ своей знаменитой рѣчи, въ которой сумѣлъ указать то общее лучшимъ представителямъ обоихъ лагерей начало, которое съ присоединеніемъ нѣкоторой своеобразной страстности разбило ихъ на двѣ, повидимому столь непримиримыя, литературныя партіи. Начало это и есть, по Достоевскому, та чисто русская способность духовнаго отождествленія съ другими, о которой мы говоримъ, и которую Достоевскій называетъ способностью перевоплощенія. Этою способностію увлеклись наши западники въ смыслѣ полнаго поглощенія всей своей жизни европейскими интересами, до полнаго забвенія своего роднаго, а крайніе изъ славянофиловъ, оцѣнивъ высокое преимущество русскаго народа, стали бояться прилагать его къ дѣлу, чтобы не утратить, и такимъ образомъ хотѣли по возможности ослабить наше общеніе съ иноземными народами. Ораторъ, представивъ самую-то способность сердечно интересоваться жизнію другихъ народовъ свойствомъ отличительнымъ нашего народнаго характера или генія, призывалъ западниковъ обратиться къ жизни народа, чтобы, почерпая изъ него эту способность, вмѣстѣ съ тѣмъ готовиться къ той великой задачѣ сродненія всѣхъ народовъ на единомъ началѣ христіанскомъ, къ чему призванъ народъ русскій.

Правдивость, открытость души.

Кромѣ сострадательной и смиренной любви необходимо воспитаніе *правдивости*, той открытости и простоты души, которая одна и можетъ распутать ложь общаго разъединенія. Эту правдивость Достоевскій находитъ въ русскомъ народѣ въ качествѣ того именно начала, что̀ въ соединеніи со смиреніемъ даетъ ему способность сродняться съ геніемъ всякой другой народности и перевоплощаться въ нее. При своихъ постоянныхъ жизненныхъ столкновеніяхъ, мы обыкновенно встрѣчаемъ каждое явленіе предубѣжденно, пристрастно или, наоборотъ, недовѣрчиво, но именно отъ этого-то свободенъ характеръ нашего смиреннаго народа, который своею открытой душой лучше насъ приготовленъ къ тому, чтобы быть психологомъ и психі-

атромъ. Такой Макаръ Ивановичъ или Мужикъ Марей, которымъ нѣчто подобное создалъ и Левъ Толстой въ своемъ Платонѣ Каратаевѣ, сразу сродняютъ съ собою всякаго своею совершенною непредубѣжденностью, открытостью души, какъ бы на подобіе цѣлительнаго бальзама смягчающею застарѣлыя душевныя раны собесѣдниковъ. Культурному человѣку, въ родѣ Алеши Карамазова, подобная открытость и искренность дается и сохраняется лишь путемъ *молитвенныхъ подвиговъ* и *духовнаго бдѣнія надъ собою*. Въ жизни же всего простого народа русскаго эта необходимая для духовнаго перевоплощенія правдивость сказывается въ томъ, что „хотя и развратенъ простолюдинъ и не можетъ уже отказать себѣ въ смрадномъ грѣхѣ, но все же знаетъ, что проклятъ Богомъ его смрадный грѣхъ, и что поступаетъ онъ худо, грѣша. Такъ что неустанно еще вѣруетъ народъ нашъ въ правду... Не то у высшихъ; тѣ... уже провозгласили, что нѣтъ преступленія, нѣтъ грѣха“ („Братья Карамазовы“). Въ этой разности отношеній къ своему грѣху—скажемъ кстати—полагалъ Достоевскій и единственное преимущество народа, о чемъ говорилъ очень часто и въ романахъ, и въ статьяхъ (напр. X, 50); причислялъ онъ въ этомъ отношеніи къ народу и вѣрующихъ изъ общества, полагая въ этомъ сознаніи несомнѣнную надежду на спасеніе даже для самаго закоренѣлаго злодѣя, какъ это выражаетъ пропойца Мармеладовъ въ своемъ знаменитомъ монологѣ, одномъ изъ лучшихъ перловъ нашего писателя (V, 22). Велика эта черта даже въ презрѣнномъ грѣшникѣ, а соединенная съ любовію, смиреніемъ и свѣтлымъ и глубокимъ образованіемъ—она золотымъ вѣнцомъ всегдашняго успѣха увѣнчиваетъ проповѣдника истины, давая ему путь къ уразумѣнію тайнъ внутренней жизни ближнихъ, открывая возможность полюбить и понять ихъ доброе, и чрезъ это окончательно покорить ихъ сердца вѣчной истинѣ Примирителя. Безъ этого свойства правдивости и соединенной съ нимъ свѣтлой, широкой всесторонности, авторъ даже и религіозность не высоко цѣнитъ, какъ это видно въ отзывѣ одного изъ его героевъ о Версиловѣ и въ типахъ Хохлаковой и о. Ѳерапонта; изувѣры и гордецы бываютъ повидимому религіозны,

но имъ авторъ удѣляетъ симпатіи еще менѣе, чѣмъ увлекающимся скептикамъ или кутиламъ. „Тутъ причина ясная: они выбираютъ Бога, чтобъ не преклоняться предъ людьми,—разумѣется, сами не вѣдая, какъ это въ нихъ дѣлается: преклоняться предъ Богомъ не такъ обидно. Изъ нихъ выходятъ чрезвычайно горячо вѣрующіе,—вѣрнѣе сказать, горячо желающіе вѣрить; но желаніе они принимаютъ за самую вѣру[1]). Изъ этакихъ особенно часто бываютъ подъ конецъ разочаровывающіеся. Про господина Версилова я думаю, что въ немъ есть и чрезвычайно искреннія черты характера“ (VIII, 60). Отсюда еще разъ видно, какъ далеки отъ истины тѣ, которые представляютъ Достоевскаго человѣкомъ партіи; но ошибаются и тѣ, что̀ утверждаютъ, будто бы въ лицѣ о. Θерапонта онъ осуждаетъ аскетизмъ отшельниковъ: возраженіе на это есть прямое въ бесѣдѣ о. Зосимы: „Русскій инокъ“, гдѣ говорится о необходимости уединенія и подвиговъ для духовнаго возрастанія. Осуждая научное просвѣщеніе безъ любви христіанской и религіозность, чуждую любви и ненавидящую просвѣщеніе, авторъ однако совершенно свободенъ отъ упрековъ въ нелюбви къ русскому духовенству. Напротивъ, именно на него-то онъ возлагаетъ надежды, какъ на единственнаго соединителя религіозности съ просвѣщеніемъ народа въ школахъ: о нихъ нашъ писатель заговорилъ еще въ 1873 г., когда правительство и не поднимало вопроса о церковно-приходскихъ школахъ. Въ этой статьѣ (IX, 224) авторъ съ негодованіемъ осуждаетъ земцевъ, препятствующихъ духовенству учить народъ и бороться словомъ проповѣди съ сектами протестантскаго пошиба. Авторъ прямо говоритъ: „добрыхъ пастырей у насъ много,—можетъ, болѣе, чѣмъ мы можемъ надѣяться, чѣмъ сами того заслуживаемъ“ (IX, 232).

Въ заключеніе повторимъ формулу Достоевскаго объ условіяхъ вліянія одной воли на другую: смиряясь, любя и

---

[1]) Буквально такія качества показалъ одинъ публицистъ, возмнившій поправить извѣстный афоризмъ Достоевскаго: „смирись, гордый человѣкъ“ и пр. прибавкой „смирись, гордый человѣкъ предъ Богомъ“. Находились невѣжды, вмѣнявшіе эту прибавку въ особенную похвалу критику, но конечно единственно по незнанію отеческаго ученія: „Послушаніе имѣй ко всѣмъ“.

познавая людей, человѣкъ восходитъ или возвращается къ первозданному таинственному единству со всѣми, и, какъ бы переливая святое (чрезъ общеніе съ Богомъ усвоенное) содержаніе своей души въ душу ближняго, преображаетъ внутреннюю природу послѣдняго, такъ что, при одномъ только согласіи его воли, тяжкій путь его возрожденія почти совершенъ за него, лишь бы онъ самъ не отвѣчалъ на это злымъ упорствомъ и ненавистью.

Ѳ. М. Достоевскій,

какъ проповѣдникъ вселенскаго православія.

ГЛАВА I [1]).

Изо всѣхъ нашихъ замѣчательныхъ романистовъ одинъ Достоевскій взялъ общественное движеніе за главный предметъ своего творчества. Обыкновенно съ нимъ сопоставляютъ въ этомъ отношеніи Тургенева, но безъ достаточнаго основанія. Чтобы характеризовать общее значеніе писателя, надо брать его лучшія, а не худшія произведенія. Лучшія же произведенія Тургенева, въ особенности „Записки Охотника“ и „Дворянское Гнѣздо“, представляютъ чудесныя картины никакъ не общественнаго движенія, а лишь общественнаго *состоянія*,— того же стараго дворянскаго міра, который мы находимъ у Гончарова и Л. Толстого. Хотя затѣмъ Тургеневъ постоянно слѣдилъ за нашимъ общественнымъ движеніемъ и отчасти подчинялся его вліянію, но смыслъ этого движенія не былъ имъ угаданъ, и романъ, спеціально посвященный этому предмету (Новь), оказался совершенно неудачнымъ.

Достоевскій не подчинялся вліянію господствующихъ кругомъ него стремленій, не слѣдовалъ покорно за фазисами общественнаго движенія,—онъ предугадывалъ повороты этого движенія и заранѣе *судилъ* ихъ. А судить онъ могъ по праву, ибо имѣлъ у себя мѣрило сужденія въ своей вѣрѣ, которая ставила его выше господствующихъ теченій, позволяла ему видѣть гораздо дальше этихъ теченій и не увле-

---

[1]) Эта и 2 слѣдующія главы представляютъ воспроизведеніе съ нѣкоторыми сокращеніями, не измѣняющими смысла, 3 рѣчей Влад. С. Соловьева въ память Достоевскаго (Полное собраніе сочиненій, т. Ш, стр. 172–200). Оглавленіе принадлежитъ редакціи.

каться ими. Въ силу своей вѣры Достоевскій вѣрно предугадывалъ высшую, далекую цѣль всего движенія, ясно видѣлъ его уклоненія отъ этой цѣли, по праву судилъ и справедливо осуждалъ ихъ. Это справедливое осужденіе относилось только къ невѣрнымъ путямъ и дурнымъ пріемамъ общественнаго движенія, а не къ самому движенію, необходимому и желанному; это осужденіе относилось къ низменному пониманію общественной правды, къ ложному общественному идеалу, а не къ исканію общественной правды, не къ стремленію осуществить общественный идеалъ. Этотъ послѣдній и для Достоевскаго былъ впереди: онъ вѣрилъ не въ пришедшее только, но и въ грядущее Царство Божіе, и понималъ необходимость труда и подвига для его осуществленія. Кто знаетъ истинную цѣль движенія, тотъ можетъ и долженъ судить уклоненія отъ нея. А Достоевскій тѣмъ болѣе имѣлъ на это право, что онъ самъ первоначально испыталъ тѣ уклоненія, самъ стоялъ на той невѣрной дорогѣ. Положительный религіозный идеалъ, такъ высоко поднявшій Достоевскаго надъ господствующими теченіями общественной мысли, этотъ положительный идеалъ не дался ему сразу, а былъ выстраданъ имъ въ тяжелой и долгой борьбѣ. Онъ судилъ о томъ, что́ зналъ, и судъ его былъ праведенъ. И чѣмъ яснѣе становилась для него высшая истина, тѣмъ рѣшительнѣе долженъ былъ онъ осуждать ложные пути общественнаго дѣйствія.

Общій смыслъ всей дѣятельности Достоевскаго, или значеніе Достоевскаго, какъ общественнаго дѣятеля, состоитъ въ разрѣшеніи этого двойнаго вопроса: о высшемъ идеалѣ общества и о настоящемъ пути къ его достиженію.

Общественная неправда.

Законная причина соціальнаго движенія заключается въ противорѣчіи между нравственными требованіями личности и сложившимся строемъ общества. Отсюда началъ и Достоевскій, какъ описатель, толкователь и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельный участникъ новаго общественнаго движенія. Глубокое чувство общественной неправды, хотя и въ самой безобидной формѣ, высказалось въ его первой повѣсти „Бѣдные Люди“. Соціальный смыслъ этой повѣсти (къ которой примыкаетъ и позднѣйшій романъ „Униженные

и Оскорбленные) сводится къ той старой и вѣчно новой истинѣ, что при существующемъ порядкѣ вещей *лучшіе* (нравственно) люди суть вмѣстѣ съ тѣмъ *худшіе* для общества, что имъ суждено быть бѣдными людьми, униженными и оскорбленными.

Если-бы соціальная неправда осталась для Достоевскаго только темой повѣсти или романа, то и онъ самъ остался бы только литераторомъ и не достигъ бы своего особаго значенія въ жизни русскаго общества. Но для Достоевскаго содержаніе его повѣсти было вмѣстѣ съ тѣмъ жизненною задачей. Онъ сразу поставилъ вопросъ на нравственную и практическую почву. Увидавъ и осудивъ то, что дѣлается на свѣтѣ, онъ спросилъ: что же должно сдѣлать?

Насильственное улучшеніе общества.

Прежде всего представилось простое и ясное рѣшеніе: лучшіе люди, видящіе на другихъ и на себѣ чувствующіе общественную неправду, должны, соединившись, возстать противъ нея и пересоздать общество по своему.

Когда первая наивная попытка [1]) исполнить это рѣшеніе привела Достоевскаго къ эшафоту и на каторгу, онъ, какъ и его товарищи, сначала могъ видѣть въ такомъ исходѣ своихъ замысловъ только свою неудачу и чужое насиліе. Приговоръ, его постигшій, былъ суровъ. Но чувство обиды не помѣшало Достоевскому понять, что онъ былъ неправъ съ своимъ замысломъ соціальнаго переворота, который былъ нуженъ только ему съ товарищами.

Каторжники, ихъ вѣра въ Бога и сознаніе грѣха.

Среди ужасовъ мертваго дома Достоевскій впервые сознательно повстрѣчался съ правдой народнаго чувства и въ его свѣтѣ ясно увидѣлъ неправоту своихъ революціонныхъ стремленій. Товарищи Достоевскаго по острогу были въ огромномъ большинствѣ изъ простого народа, и, за немногими яркими исключеніями, все это были худшіе люди народа. Но и худшіе люди простого народа обыкновенно сохраняютъ то, что теряютъ лучшіе люди интеллигенціи: вѣру въ Бога и сознаніе своей грѣ-

---

[1]) Наивная собственно со стороны Достоевскаго, которому пути соціальнаго переворота представлялись въ весьма неопредѣленныхъ чертахъ.

ховности. Простые преступники, выдѣлясь изъ народной массы своими дурными дѣлами, нисколько не отдѣляются отъ нея въ своихъ чувствахъ и взглядахъ, въ своемъ религіозномъ міросозерцаніи. Въ мертвомъ домѣ Достоевскій нашелъ настоящихъ „бѣдныхъ (или, по народному выраженію, несчастныхъ) людей". Тѣ прежніе, которыхъ онъ оставилъ за собою, еще имѣли убѣжище отъ общественной обиды въ чувствѣ собственнаго достоинства, въ своемъ личномъ превосходствѣ. У каторжниковъ *этого* не было, но было нѣчто большее. Худшіе люди мертваго дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшіе люди интеллигенціи. Если тамъ, среди представителей просвѣщенія, остатокъ религіознаго чувства заставлялъ его блѣднѣть отъ богохульствъ передового литератора, то въ мертвомъ домѣ это чувство должно было воскреснуть и обновиться подъ впечатлѣніемъ смиренной и благочестивой вѣры каторжниковъ. Какъ бы забытые церковью, придавленные государствомъ, эти люди вѣрили въ Церковь и не отвергали государства. И въ самую тяжкую минуту за буйной и свирѣпой толпой каторжниковъ всталъ въ памяти Достоевскаго величавый и кроткій образъ крѣпостного мужика Марея, съ любовью ободряющаго испуганнаго барченка. И онъ почувствовалъ и понялъ, что передъ этой высшей Божьей правдой всякая своя самодѣльная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другимъ есть преступленіе.

Значеніе каторги для Достоевскаго.

Вмѣсто злобы неудачнаго революціонера Достоевскій вынесъ изъ каторги свѣтлый взглядъ нравственнаго человѣка: „Больше вѣры, больше единства, а если любовь къ тому, то все сдѣлано", писалъ онъ. Эта нравственная сила, обновленная соприкосновеніемъ съ народомъ, дала Достоевскому право на высокое мѣсто впереди нашего общественнаго движенія, не какъ служителю злобы дня, а какъ истинному двигателю общественной мысли.

Положительный общественный идеалъ еще не былъ вполнѣ ясенъ уму Достоевскаго по возвращеніи изъ Сибири. Но три истины въ этомъ дѣлѣ были для него совершенно ясны: онъ понялъ прежде всего, что отдѣльныя лица, хотя бы и лучшіе люди, не имѣютъ права насиловать общество во имя

своего личнаго превосходства; онъ понялъ также, что общественная правда не выдумывается отдѣльными умами, а коренится во всенародномъ чувствѣ, и наконецъ онъ понялъ, что эта правда имѣетъ значеніе религіозное и необходимо связана съ вѣрой Христовой, съ идеаломъ Христа.

Въ сознаніи этихъ истинъ Достоевскій далеко опередилъ господствовавшее тогда направленіе общественной мысли, и благодаря этому могъ *предугадать* и указать, куда ведетъ это направленіе. Извѣстно, что романъ „Преступленіе и Наказаніе“ написанъ какъ разъ передъ преступленіемъ Данилова [1]) и Каракозова, а романъ „Бѣсы“—передъ процессомъ Нечаевцевъ.

Незаконность насилія во имя личнаго превосходства.

Смыслъ перваго изъ этихъ романовъ, при всей глубинѣ подробностей, очень простъ и ясенъ, хотя многими не былъ понятъ. Главное дѣйствующее лицо — представитель того воззрѣнія, по которому всякій сильный человѣкъ самъ по себѣ господинъ, и ему все позволено. Во имя своего личнаго превосходства, во имя того, что онъ *сила*, онъ считаетъ себя въ правѣ совершить убійство и дѣйствительно его совершаетъ. Но вотъ, вдругъ то дѣло, которое онъ считалъ только нарушеніемъ внѣшняго безсмысленнаго закона и смѣлымъ вызовомъ общественному предразсудку, — вдругъ оно оказывается для его собственной совѣсти чѣмъ-то гораздо большимъ, оказывается грѣхомъ, нарушеніемъ внутренней нравственной правды. Нарушеніе внѣшняго закона получаетъ законное возмездіе извнѣ въ ссылкѣ и каторгѣ, но внутренній грѣхъ гордости, отдѣлившій сильнаго человѣка отъ человѣчества и приведшій его къ человѣкоубійству, — этотъ внутренній грѣхъ самообоготворенія можетъ быть искупленъ только внутреннимъ нравственнымъ подвигомъ самоотреченія. Безпредѣльная самоувѣренность должна исчезнуть передъ вѣрой въ то, что больше *себя*, и самодѣльное оправданіе должно смириться передъ высшей правдой Божіей, живущей въ тѣхъ самыхъ простыхъ и слабыхъ людяхъ, на которыхъ сильный человѣкъ смотрѣлъ какъ на ничтожныхъ насѣкомыхъ.

---

[1]) Даниловъ — студентъ Московскаго Университета, убившій и ограбившій ростовщика, имѣя при этомъ какіе-то особые планы.

Въ „Бѣсахъ“ та же тема если не углублена, то значительно расширена и усложнена. Цѣлое общество людей, одержимыхъ мечтой о насильственномъ переворотѣ, чтобы передѣлать міръ по своему, совершаютъ звѣрскія преступленія и гибнутъ позорнымъ образомъ, а исцѣленная вѣрой Россія склоняется передъ своимъ Спасителемъ.

Общественное значеніе этихъ романовъ велико; въ нихъ *предсказаны* важныя общественныя явленія, которыя не замедлили обнаружиться; вмѣстѣ съ тѣмъ эти явленія осуждены во имя высшей религіозной истины, и указанъ лучшій исходъ для общественнаго движенія въ принятіи этой самой истины.

Правда въ истинной вѣрѣ Христовой.

Осуждая исканія самовольной отвлеченной правды, порождающія только преступленія, Достоевскій противопоставляетъ имъ народный религіозный идеалъ, основанный на вѣрѣ Христовой. Возвращеніе къ этой вѣрѣ есть общій исходъ и для Раскольникова, и для всего одержимаго бѣсами общества. Одна лишь вѣра Христова, живущая въ народѣ, содержитъ въ себѣ тотъ положительный общественный идеалъ, въ которомъ отдѣльная личность солидарна со всѣми. Отъ личности же, утратившей эту солидарность, прежде всего требуется, чтобы она отказалась отъ своего гордаго уединенія, чтобы нравственнымъ актомъ самоотверженія она возсоединилась духовно съ цѣлымъ народомъ. Но во имя чего же? Во имя ли того только, что онъ — народъ, и что шестьдесятъ милліоновъ больше, чѣмъ единица или чѣмъ тысяча? Вѣроятно есть люди, которые именно такъ это и понимаютъ. Но такое слишкомъ ужъ простое пониманіе было совершенно чуждо Достоевскому. Требуя отъ уединившейся личности возвращенія къ народу, онъ прежде всего имѣлъ въ виду возвращеніе къ той истинной вѣрѣ, которая еще хранится въ народѣ. Въ томъ общественномъ идеалѣ братства, или всеобщей солидарности, которому вѣрилъ Достоевскій, главнымъ было его религіозно-нравственное, а не національное значеніе. Уже въ „Бѣсахъ“ есть рѣзкая насмѣшка надъ тѣми людьми, которые поклоняются народу только за то, что онъ народъ, и цѣнятъ православіе лишь какъ атрибутъ русской народности.

Если мы хотимъ однимъ словомъ обозначить тотъ общественный идеалъ, къ которому пришелъ Достоевскій, то это слово будетъ не народъ, а *Церковь*.

Церковь, какъ положительный общественный идеалъ.

Мы вѣримъ въ Церковь, какъ въ мистическое тѣло Христово; мы знаемъ церковь также, какъ собраніе вѣрующихъ того или другого исповѣданія. Но что такое церковь, какъ общественный идеалъ? Достоевскій не имѣлъ никакихъ богословскихъ притязаній, а потому и мы не имѣемъ права искать у него какихъ-нибудь логическихъ опредѣленій церкви по существу. Но проповѣдуя церковь, какъ общественный идеалъ, онъ выражалъ вполнѣ ясное и опредѣленное требованіе, столь же ясное и опредѣленное (хотя прямо противоположное), какъ и то требованіе, которое заявляется европейскимъ соціализмомъ. (Поэтому въ своемъ послѣднемъ дневникѣ Достоевскій и назвалъ народную вѣру въ церковь нашимъ русскимъ соціализмомъ). Европейскіе соціалисты требуютъ насильственнаго низведенія всѣхъ къ одному чисто матеріальному уровню сытыхъ и самодовольныхъ рабочихъ, требуютъ низведенія государства и общества на степень простой экономической ассоціаціи. „Русскій соціализмъ“, о которомъ говорилъ Достоевскій, напротивъ *возвышаетъ* всѣхъ до нравственнаго уровня церкви, какъ духовнаго братства, хотя и съ сохраненіемъ внѣшняго неравенства соціальныхъ положеній, требуетъ одухотворенія всего государственнаго и общественнаго строя чрезъ воплощеніе въ немъ истины и жизни Христовой.

Церковь, какъ положительный общественный идеалъ, должна была явиться центральною идеей новаго романа или новаго ряда романовъ, изъ которыхъ написанъ только первый—„Братья Карамазовы“. [1])

Необходимость нравственнаго подвига для осуществленія этого идеала.

Если этотъ общественный идеалъ Достоевскаго прямо противоположенъ идеалу тѣхъ современныхъ дѣятелей, которые изображены въ „Бѣсахъ“, то точно также противоположны для нихъ и пути достиженія. Тамъ путь есть насиліе и убій-

[1]) Главную мысль, а отчасти и планъ своего новаго произведенія, Достоевскій передавалъ мнѣ въ краткихъ чертахъ лѣтомъ 1878 г. Тогда же мы ѣздили въ Оптину пустынь.

ство, здѣсь путь есть *нравственный подвигъ*, и притомъ двойной подвигъ, двойной актъ нравственнаго самоотреченія. Прежде всего требуется отъ личности, чтобы она отреклась отъ своего произвольнаго мнѣнія, отъ своей самодѣльной правды во имя общей всенародной вѣры и правды. Личность должна преклониться передъ народною вѣрой, но не потому, что она народная, а потому, что она истинная. А если такъ, то, значитъ, и народъ во имя этой истины, въ которую онъ вѣритъ, долженъ отречься и отрѣшиться ото всего въ немъ самомъ, что не согласуется съ религіозною истиной.

Обладаніе истиной не можетъ составлять привилегіи народа, также какъ оно не можетъ быть привилегіей отдѣльной личности. Истина можетъ быть только *вселенскою*, и отъ народа требуется подвигъ служенія этой вселенской истинѣ, хотя бы, и даже *непремѣнно*, съ пожертвованіемъ своего національнаго эгоизма. И народъ долженъ оправдать себя передъ вселенской правдой, и народъ долженъ положить душу свою, если хочетъ спасти ее.

Вселенская правда воплощается въ церкви. Окончательный идеалъ и цѣль—не въ народности, которая сама по себѣ есть только служебная сила, а въ церкви, которая есть высшій предметъ служенія, требующій нравственнаго подвига не только отъ личности, но и отъ цѣлаго народа.

Итакъ—церковь, какъ положительный общественный идеалъ, какъ основа и цѣль всѣхъ нашихъ мыслей и дѣлъ, и всенародный подвигъ, какъ прямой путь для осуществленія этого идеала — вотъ послѣднее слово, до котораго дошелъ Достоевскій, и которое озарило всю его дѣятельность пророческимъ свѣтомъ.

ГЛАВА II.

Центральная идея, которой служилъ Достоевскій во всей своей дѣятельности, была христіанская идея свободнаго всечеловѣческаго единенія, всемірнаго братства во имя Христово. Эту идею проповѣдывалъ Достоевскій, когда говорилъ объ истинной церкви, о вселенскомъ православіи, въ

ней же онъ видѣлъ духовную, еще не проявленную сущность Русскаго народа, всемірно-историческую задачу Россіи, то новое слово, которое Россія должна сказать міру. „Сущность русскаго призванія“, писалъ Достоевскій Н. Н. Страхову въ 1869 году (30 марта), „состоитъ въ разоблаченіи предъ міромъ русскаго Христа, міру невѣдомаго, и котораго начало заключается въ нашемъ родномъ православіи. По моему, въ этомъ вся сущность нашего будущаго цивилизаторства и воскрешенія хотя бы всей Европы и вся сущность нашего могучаго будущаго бытія“ [1]). Хотя уже 18 вѣковъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ это слово впервые возвѣщено Христомъ, но по истинѣ въ наши дни оно является совсѣмъ новымъ словомъ, и такого проповѣдника христіанской идеи, какимъ былъ Достоевскій, по справедливости можно назвать „ясновидящимъ предчувственникомъ“ истиннаго христіанства.

Различные виды христіанства: „Храмовое“ христіанство.

Христосъ не былъ для него только фактомъ прошедшаго, далекимъ и непостижимымъ чудомъ. Если такъ смотрѣть на Христа, то легко можно сдѣлать изъ Него мертвый образъ, которому поклоняются въ церквахъ по праздникамъ, но которому нѣтъ мѣста въ жизни. Тогда все христіанство замыкается въ стѣнахъ храма и превращается въ обрядъ и молитвословіе, а дѣятельная жизнь остается всецѣло нехристіанскою. И такая внѣшняя церковь заключаетъ въ себѣ истинную вѣру, но эта вѣра здѣсь такъ слаба, что ея достаетъ только на праздничныя минуты. Это—*храмовое* христіанство. И оно должно существовать первѣе всего, ибо на землѣ внѣшнее прежде внутренняго, но его недостаточно.

„Домашнее“ христіанство.

Есть другой видъ, или степень христіанства, гдѣ оно уже не довольствуется богослуженіемъ, а хочетъ руководить дѣятельною жизнью человѣка, оно выходитъ изъ храма и поселяется въ жилищахъ человѣческихъ. Его удѣлъ внутренняя индивидуальная жизнь. Здѣсь Христосъ является какъ высшій нравственный идеалъ, ре-

---

[1]) Добавленіе редакціи. (Полное собраніе сочиненій Достоевскаго. Спб. 1883 г. Приложенія стр. 66).

лигія сосредоточивается въ личной нравственности, и все дѣло полагается въ спасеніи отдѣльной души человѣческой. Есть и въ такомъ христіанствѣ истинная вѣра, но и здѣсь она еще слаба: ея достаетъ только на *личную* жизнь и *частныя* дѣла человѣка. Это есть христіанство *домашнее*. Оно должно быть, но и его недостаточно. Ибо оно оставляетъ весь обще-человѣческій міръ, всѣ дѣла общественныя, гражданскія и международныя — все это оно оставляетъ и передаетъ во власть злыхъ анти-христіанскихъ началъ. Но если христіанство есть высшая, безусловная истина, то такъ не должно быть.

„Вселенское" христіанство.

Истинное христіанство не можетъ быть только домашнимъ, какъ и только храмовымъ—оно должно быть *вселенскимъ*, оно должно распространяться на все человѣчество и на всѣ дѣла человѣческія. И если Христосъ есть дѣйствительно воплощеніе истины, то Онъ не долженъ оставаться только храмовымъ изображеніемъ или же только личнымъ идеаломъ: мы должны признать его какъ всемірно-историческое начало, какъ живое основаніе и краеугольный камень всечеловѣческой церкви. Всѣ дѣла и отношенія обще-человѣческія должны окончательно управляться тѣмъ же самымъ нравственнымъ началомъ, которому мы поклоняемся въ храмахъ и которое признаемъ въ своей домашней жизни, т. е. началомъ любви, свободнаго согласія и братскаго единенія.

Такое вселенское христіанство исповѣдывалъ и возвѣщалъ Достоевскій.

Храмовое и домашнее христіанство существуетъ въ дѣйствительности — оно есть *фактъ*. Христіанства вселенскаго еще нѣтъ въ дѣйствительности, оно есть только *задача*, и какая огромная, превышающая повидимому силы человѣческія, задача! Въ дѣйствительности всѣ обще-человѣческія дѣла — политика, наука, искусство, общественное хозяйство, находясь внѣ христіанскаго начала, вмѣсто того чтобъ объединить людей, разрознивaютъ и раздѣляютъ ихъ, ибо всѣ эти дѣла управляются эгоизмомъ и частной выгодой, соперничествомъ и борьбою, и порождаютъ угнетеніе и насиліе. Такова дѣйствительность, таковъ фактъ.

Но въ томъ-то и заслуга, въ томъ-то и все значеніе такихъ людей, какъ Достоевскій, что они не преклоняются предъ силою факта и не служатъ ей. Противъ этой грубой силы того, что существуетъ, у нихъ есть духовная сила вѣры въ истину и добро — въ то, что должно быть. Не искушаться видимымъ господствомъ зла и не отрекаться ради него отъ невидимаго добра есть подвигъ вѣры. Въ немъ вся сила человѣка. Кто неспособенъ на этотъ подвигъ, тотъ ничего не сдѣлаетъ и ничего не скажетъ человѣчеству. Люди факта живутъ чужой жизнью, но не они творятъ жизнь. *Творятъ жизнь* люди вѣры. Это тѣ, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, — они же пророки, истинно лучшіе люди и вожди человѣчества.

Не смущаясь анти-христіанскимъ характеромъ всей нашей жизни и дѣятельности, не смущаясь безжизненностью и бездѣйствіемъ нашего христіанства, Достоевскій вѣрилъ и проповѣдывалъ христіанство живое и дѣятельное, вселенскую церковь, всемірное православное дѣло. Онъ говорилъ не о томъ только, что̀ есть, а о томъ, что̀ должно быть.

Вселенская православная церковь, какъ задача.

Онъ говорилъ о вселенской православной церкви не только какъ о божественномъ учрежденіи, неизмѣнно пребывающемъ, но и какъ о *задачѣ* всечеловѣческаго и всесвѣтнаго соединенія во имя Христово и въ духѣ Христовомъ—въ духѣ любви и милосердія, подвига и самопожертвованія. Истинная церковь, которую проповѣдывалъ Достоевскій, есть всечеловѣческая, прежде всего въ *томъ* смыслѣ, что въ ней должно въ конецъ исчезнуть раздѣленіе человѣчества на соперничающіе и враждебные между собою племена и народы. Всѣ они, не теряя своего національнаго характера, а лишь освобождаясь отъ своего національнаго эгоизма, могутъ и должны соединиться въ одномъ общемъ дѣлѣ всемірнаго возрожденія. Поэтому Достоевскій, говоря о Россіи, не могъ имѣть въ виду національнаго обособленія. Напротивъ, все значеніе русскаго народа онъ полагалъ въ служеніи истинному христіанству, въ немъ же нѣтъ ни эллина, ни іудея. Правда, онъ считалъ Россію избраннымъ народомъ Божіимъ, но избраннымъ

не для соперничества съ другими народами и не для господства и первенства надъ ними, а для свободнаго служенія всѣмъ народамъ и для осуществленія, въ братскомъ союзѣ съ ними, истиннаго всечеловѣчества, или вселенской церкви.

Способность русскаго народа къ осуществленію этой задачи.

Достоевскій никогда не идеализировалъ народъ и не поклонялся, ему какъ кумиру. Онъ вѣрилъ въ Россію и предсказывалъ ей великое будущее, но главнымъ задаткомъ этого будущаго была въ его глазахъ именно слабость національнаго эгоизма и исключительности въ русскомъ народѣ. Двѣ въ немъ черты были особенно дороги Достоевскому. Во-первыхъ, необыкновенная способность усваивать духъ и идеи чужихъ народовъ, перевоплощаться въ духовную суть всѣхъ націй—черта, которая особенно выразилась въ поэзіи Пушкина. Вторая еще болѣе важная черта, которую Достоевскій указывалъ въ русскомъ народѣ, это — сознаніе своей грѣховности, неспособность возводить свое несовершенство въ законъ и право, и успокоиваться на немъ, отсюда требованіе лучшей жизни, жажда очищенія и подвига. Безъ этого нѣтъ истинной дѣятельности ни для отдѣльнаго лица, ни для цѣлаго народа. Какъ бы глубоко ни было паденіе человѣка или народа, какою бы скверной ни была наполнена его жизнь, онъ можетъ изъ нея выйти и подняться, если *хочетъ*, т. е. если признаетъ свою дурную дѣйствительность только за дурное, только за фактъ, котораго не должно быть, и не дѣлаетъ изъ этого дурнаго факта неизмѣнный законъ и принципъ, не возводитъ своего грѣха въ правду. Но если человѣкъ или народъ не мирится съ своей дурной дѣйствительностью, и осуждаетъ ее какъ грѣхъ, это ужъ значитъ, что у него есть какое-нибудь представленіе, или идея, или хотя бы только предчувствіе другой, лучшей жизни, того, что *должно* быть. Вотъ почему Достоевскій утверждалъ, что русскій народъ, несмотря на свой видимый звѣриный образъ, въ глубинѣ души своей носитъ другой образъ — образъ Христовъ и, когда придетъ время, покажетъ его въявь всѣмъ народамъ и привлечетъ ихъ къ Нему, и вмѣстѣ съ ними исполнитъ всечеловѣческую задачу.

А задача эта, т. е. истинное христіанство, есть всечеловѣческое не въ томъ только смыслѣ, что оно должно соединить всѣ народы *одной вѣрой*, а главное въ томъ, что оно должно соединить и примирить всѣ человѣческія *дѣла* въ одно всемірное общее дѣло, безъ него же и общая вселенская вѣра была бы только отвлеченной формулой и мертвымъ догматомъ. А это возсоединеніе общечеловѣческихъ дѣлъ, по крайней мѣрѣ самыхъ высшихъ изъ нихъ, въ одной христіанской идеѣ Достоевскій не только проповѣдывалъ, но до извѣстной степени и показывалъ самъ въ своей собственной дѣятельности. Будучи *религіознымъ* человѣкомъ, онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ свободнымъ *мыслителемъ* и могучимъ *художникомъ*. Эти три стороны, эти три высшія дѣла не разграничивались у него между собою и не исключали другъ друга, а входили нераздѣльно во всю его дѣятельность. Въ своихъ убѣжденіяхъ онъ никогда не отдѣлялъ истину отъ добра и красоты, въ своемъ художественномъ творчествѣ онъ никогда не ставилъ красоту отдѣльно отъ добра и истины. И онъ былъ правъ, потому что эти три живутъ только своимъ союзомъ. Добро, отдѣленное отъ истины и красоты, есть только неопредѣленное чувство, безсильный порывъ; истина отвлеченная есть пустое слово, а красота безъ добра и истины есть кумиръ. Для Достоевскаго же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся въ Христѣ безконечность человѣческой души, способной вмѣстить въ себя всю безконечность Божества—эта идея есть вмѣстѣ и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннѣйшая красата. Истина есть добро, мыслимое человѣческимъ умомъ; красота есть то же добро и та же истина, тѣлесно воплощенная въ живой конкретной формѣ. И полное ея воплощеніе — уже во всемъ есть конецъ, и цѣль, и совершенство, и вотъ почему Достоевскій говорилъ, что красота спасетъ міръ.

Единеніе человѣчества на основѣ свободы.

Міръ не долженъ быть спасенъ насильно. Задача не въ простомъ соединеніи всѣхъ частей человѣчества и всѣхъ дѣлъ человѣческихъ въ одно общее дѣло. Можно себѣ представить, что люди работаютъ вмѣстѣ надъ какой-нибудь великой задачей и къ ней сводятъ и ей

подчиняютъ всѣ свои частныя дѣятельности, но если эта задача имъ *навязана*, если она для нихъ есть нѣчто роковое и неотступное, если они соединены слѣпымъ инстинктомъ или внѣшнимъ принужденіемъ, то хотя бы такое единство распространялось на все человѣчество, это не будетъ истиннымъ всечеловѣчествомъ, а только огромнымъ „муравейникомъ“. Образчики такихъ муравейниковъ были, мы знаемъ, въ восточныхъ деспотіяхъ—въ Китаѣ, въ Египтѣ; въ небольшихъ размѣрахъ они были уже въ новое время осуществляемы коммунистами въ Сѣверной Америкѣ. Противъ такого муравейника со всею силой возставалъ Достоевскій, видя въ немъ прямую противоположность своему общественному идеалу. Его идеалъ требуетъ не только единенія всѣхъ людей и всѣхъ дѣлъ человѣческихъ, но главное *человѣчнаго* ихъ единенія. Дѣло не въ единствѣ, а въ свободномъ *согласіи* на единство. Дѣло не въ великости и важности общей задачи, а въ добровольномъ ея признаніи.

Основаніе для вѣры въ свободное единеніе.

Окончательное условіе истиннаго всечеловѣчества есть свобода. Но гдѣ же ручательство, что люди свободно придутъ къ единенію, а не разойдутся во всѣ стороны, враждуя и истребляя другъ друга, какъ это мы и видимъ? Ручательство одно: безконечность души человѣческой, которая не позволяетъ человѣку навсегда остановиться и успокоиться на чемъ-нибудь частичномъ, мелкомъ и неполномъ, а заставляетъ его добиваться и искать полной всечеловѣческой жизни, всеобщаго и всемірнаго дѣла.

Вѣра въ эту безконечность души человѣческой дана христіанствомъ. Изо всѣхъ религій одно христіанство рядомъ съ совершеннымъ Богомъ ставитъ *совершеннаго человѣка*, въ которомъ полнота Божества обитаетъ тѣлесно. И если дѣйствительность безконечной человѣческой души была осуществлена въ Христѣ, то возможность, искра этой безконечности и полноты существуетъ во всякой душѣ человѣческой, даже на самой низкой степени паденія, и это показалъ намъ Достоевскій въ своихъ любимыхъ типахъ.

Полнота христіанства есть всечеловѣчество, и вся жизнь Достоевскаго была горячимъ порывомъ къ всечеловѣчеству.

Выводы для нашего времени.

Не хочется вѣрить, чтобы эта жизнь прошла напрасно. Хочется вѣрить, что наше общество не даромъ такъ дружно оплакивало смерть Достоевскаго. Онъ не оставилъ никакой теоріи, никакой системы, никакого плана или проекта. Но руководящее начало и цѣль, высшая общественная задача и идея были поставлены имъ на небывалую высоту. Стыдно будетъ русскому обществу, если оно сведетъ свою общественную идею съ этой высоты и подмѣнитъ великое общее дѣло своими мелкими профессіональными и сословными интересами, подъ разными громкими именами. Конечно, у всякаго, и признающаго великое всечеловѣческое дѣло, есть свои частныя дѣла и занятія, своя профессія и спеціальность. И вовсе не нужно бросать ихъ, если только въ нихъ нѣтъ ничего противнаго нравственному закону. Всечеловѣческое дѣло потому и есть всечеловѣческое, что оно можетъ все совмѣстить и ничего не исключаетъ, кромѣ злобы и грѣха. Отъ насъ только требуется, чтобы мы своей маленькой части не ставили на мѣсто великаго цѣлаго, чтобы мы не обособлялись въ своемъ частномъ дѣлѣ, а старались связать его съ дѣломъ всечеловѣческимъ, чтобы это великое дѣло мы никогда не теряли изъ виду, ставили бы его выше и прежде всего, а все остальное ужъ—потомъ. Не въ нашей власти рѣшить, когда и какъ совершится великое дѣло всечеловѣческаго единенія. Но поставить его себѣ какъ высшую задачу и служить ему во всѣхъ дѣлахъ своихъ — это въ нашей власти. Въ нашей власти сказать: вотъ чего мы хотимъ, вотъ наша высшая цѣль и наше знамя—и на другое мы не согласны.

ГЛАВА III.

Дѣло и дѣлатели.

Во всякомъ человѣческомъ дѣлѣ, большомъ и маломъ, физическомъ и духовномъ, одинаково важны оба вопроса: *что* дѣлать и *кто* дѣлаетъ? Плохой или не приготовленный работникъ можетъ только испортить самое лучшее дѣло. Предметъ дѣла и качества дѣлателя неразрывно связаны между собою во всякомъ *настоящемъ* дѣлѣ, а тамъ,

гдѣ эти двѣ стороны раздѣляются, тамъ настоящаго дѣла и не выходитъ. Тогда прежде всего искомое дѣло раздвояется. Съ одной стороны выступаетъ образъ идеальнаго строя жизни, устанавливается нѣкоторый опредѣленный „общественный идеалъ". Но этотъ идеалъ принимается независимо ни отъ какой внутренней работы самого человѣка, — онъ состоитъ только въ нѣкоторомъ заранѣе опредѣленномъ и извнѣ принудительномъ экономическомъ и соціальномъ строѣ жизни; поэтому все, что можетъ человѣкъ сдѣлать для достиженія этого *внѣшняго* идеала, сводится къ устраненію внѣшнихъ же *препятствій* къ нему. Такимъ образомъ самъ идеалъ является исключительно только въ будущемъ, а въ настоящемъ человѣкъ имѣетъ дѣло только съ тѣмъ, что противорѣчитъ этому идеалу, и вся его дѣятельность отъ несуществующаго идеала обращается всецѣло на *разрушеніе существующаго*, а такъ какъ это послѣднее держится людьми и обществомъ, то все это *дѣло* обращается въ насиліе надъ людьми и цѣлымъ обществомъ. Незамѣтнымъ образомъ общественный идеалъ подмѣнивается противообщественною дѣятельностью. На вопросъ: что дѣлать? получается ясный и опредѣленный отвѣтъ: убивать всѣхъ противниковъ будущаго идеальнаго строя, т.-е. всѣхъ защитниковъ настоящаго.

При такомъ рѣшеніи дѣла вопросъ: готовы ли дѣлатели? дѣйствительно является излишнимъ. Для *такого* служенія общественному идеалу человѣческая природа въ теперешнемъ своемъ состояніи и съ самыхъ худшихъ своихъ сторонъ является вполнѣ готовой и пригодной. Въ достиженіи общественнаго идеала путемъ разрушенія всѣ дурныя страсти, всѣ злыя и безумныя стихіи человѣчества найдутъ себѣ мѣсто и назначеніе: такой общественный идеалъ стоитъ всецѣло на почвѣ господствующаго въ мірѣ зла. Онъ не предъявляетъ своимъ служителямъ никакихъ нравственныхъ условій, ему нужны не духовныя силы, а физическое насиліе, онъ требуетъ отъ человѣчества не внутренняго *обращенія*, а внѣшняго *переворота*.

Примѣры исторіи. Предъ появленіемъ христіанства Іудейскій народъ ждалъ пришествія царствія Божія, и большинство разумѣло подъ этимъ царствіемъ внѣшній насиль-

ственный переворотъ, который долженъ былъ дать господство избранному народу и истребить его враговъ. Люди, ожидавшіе такого царствія, по крайней мѣрѣ наиболѣе рѣшительные и ревностные изъ нихъ, имѣли ясный и опредѣленный отвѣтъ на вопросъ, что̀ дѣлать: возстать противъ Рима и избивать римскихъ солдатъ. И они это исполнили, стали избивать Римлянъ и сами были перебиты. И дѣло ихъ погибло, и Римляне разгромили Іерусалимъ. Только немногіе въ Израилѣ разумѣли подъ грядущимъ царствіемъ нѣчто болѣе глубокое и болѣе радикальное, знали другого врага, болѣе страшнаго и болѣе таинственнаго врага, чѣмъ Римляне, и искали другой, еще болѣе трудной, но зато и болѣе плодотворной побѣды. Для этихъ людей на вопросъ: что дѣлать—былъ только одинъ, загадочный и неопредѣленный отвѣтъ, котораго не могли вмѣстить учители Израиля. „Истинно, истинно говорю тебѣ: если кто не родится свыше, не можетъ видѣть царствія Божія“. Немногіе люди, не смутившіеся этимъ страннымъ и темнымъ отвѣтомъ, принявшіе духовное рожденіе и повѣрившіе въ духовное царствіе Божіе, эти люди побѣдили Римлянъ и покорили міръ.

Необходимость нравственнаго переворота.

И у насъ теперь, въ эпоху духовнаго броженія,— въ то время какъ приверженцы „общественнаго идеала“, такого же внѣшняго и поверхностнаго, какъ „царствіе“ іудейскихъ матеріалистовъ, возстаютъ и убиваютъ, губятъ другихъ и сами гибнутъ безплодно и бославно, а другіе или теряются въ умственномъ хаосѣ, или погрязаютъ въ равнодушномъ своекорыстіи,—являются лишь немногіе люди, которые, не удовлетворяясь никакими внѣшними цѣлями и идеалами, чувствуютъ и возвѣщаютъ необходимость глубокаго *нравственнаго* переворота и указываютъ условія новаго духовнаго рожденія Россіи и человѣчества.

Изъ этихъ немногихъ предвѣстниковъ русской и вселенской будущности безспорно первымъ былъ Достоевскій, ибо онъ глубже другихъ провидѣлъ сущность грядущаго царствія, сильнѣе и одушевленнѣе предвозвѣщалъ его. Основное преимущество воззрѣній Достоевскаго есть именно то, за что его иногда укоряютъ — отсутствіе или, лучше сказать, сознательное отверженіе всякаго *внѣшняго* обществен-

наго идеала, т.-е. такого, который не связанъ съ внутреннимъ обращеніемъ человѣка, или его рожденіемъ свыше. Такое рожденіе не нужно для такъ-называемаго общественнаго идеала. Онъ довольствуется человѣческою природою, какъ она есть,—это идеалъ грубый и поверхностный, и мы знаемъ, что попытки къ его реализаціи только утверждаютъ и умножаютъ уже господствующее въ мірѣ зло и безуміе. Такого грубаго и поверхностнаго, безбожнаго и безчеловѣчнаго идеала не было у Достоевскаго, и въ этомъ его первая заслуга. Онъ слишкомъ хорошо зналъ всѣ глубины человѣческаго паденія, онъ зналъ, что злоба и безуміе составляютъ основу нашей извращенной природы, и что если принимать это извращеніе за норму, то нельзя прійти ни къ чему, кромѣ насилія и хаоса.

Пока темная основа нашей природы, злая въ своемъ исключительномъ эгоизмѣ и безумная въ своемъ стремленіи осуществить этотъ эгоизмъ, все отнести къ себѣ и все опредѣлить собою,—пока эта темная основа у насъ на лицо—не обращена, и этотъ первородный грѣхъ не сокрушенъ, до тѣхъ поръ не возможно для насъ никакое настоящее *дѣло*, и вопросъ: *что дѣлать* — не имѣетъ разумнаго смысла. Представьте себѣ толпу людей, слѣпыхъ, глухихъ, увѣчныхъ, бѣсноватыхъ, и вдругъ изъ толпы раздается вопросъ: что̀ дѣлать? Единственный разумный здѣсь отвѣтъ: ищите исцѣленія; пока вы не исцѣлитесь, для васъ нѣтъ дѣла, а пока вы выдаете себя за здоровыхъ, для васъ нѣтъ исцѣленія.

Человѣкъ, который на своемъ нравственномъ недугѣ, на своей злобѣ и безуміи основываетъ свое право дѣйствовать и передѣлывать міръ по своему, такой человѣкъ, каковы бы ни были его внѣшняя судьба и дѣла,—по самому существу своему есть *убійца*; онъ неизбѣжно будетъ насиловать и губить другихъ, и самъ неизбѣжно погибнетъ отъ насилія. Онъ считаетъ себя сильнымъ, но онъ во власти чужихъ силъ; онъ гордится своею свободою, но онъ рабъ внѣшности и случайности. Такой человѣкъ не исцѣлится, пока не сдѣлаетъ перваго шага къ спасенію. Первый шагъ къ спасенію для насъ—почувствовать свое безсиліе и свою неволю,—

кто вполнѣ это почувствуетъ, тотъ уже не будетъ убійцею,— но если онъ *остановится* на этомъ чувствѣ своего безсилія и неволи, то онъ придетъ къ *самоубійству*. Къ самоубійству приходитъ всякій, кто сознаетъ всечеловѣческое зло, но не вѣритъ въ сверхчеловѣческое Добро. Только этой вѣрой человѣкъ мысли и совѣсти спасается отъ самоубійства. Онъ не долженъ остановиться на первомъ шагѣ—сознаніи своего зла, но долженъ сдѣлать второй шагъ—признать сущее Добро надъ собою. И не много нужно здраваго смысла, чтобъ, чувствуя все зло въ человѣкѣ, заключить къ Добру, независимому отъ человѣка, и не большое нужно усиліе доброй воли, чтобъ обратиться къ этому Добру и дать Ему мѣсто въ себѣ. Ибо это сущее Добро уже само ищетъ насъ и обращаетъ насъ къ Себѣ, и намъ остается только уступать Ему, только не противодѣйствовать Ему.

Съ вѣрой въ сверхчеловѣческое Добро, т.-е. въ Бога, возвращается и вѣра въ человѣка, который тутъ уже является не въ своемъ одиночествѣ, немощи и неволѣ, а какъ свободный участникъ Божества и носитель силы Божіей. Но повѣривъ дѣйствительно въ сверхчеловѣческое Добро, мы уже никакъ не можемъ допустить, чтобы его явленіе и дѣйствіе связывалось исключительно съ нашимъ субъективнымъ состояніемъ, чтобъ Божество въ своемъ проявленіи зависѣло только отъ личнаго дѣйствія человѣка, — мы непремѣнно, сверхъ нашего личнаго религіознаго отношенія, должны признать положительное откровеніе Божества и во внѣшнемъ мірѣ, должны признать объективную религію. Только отказавшись отъ своего ложнаго положенія, отъ своей безумной сосредоточенности въ себѣ, отъ своего злого одиночества, только связавъ себя съ Богомъ въ Христѣ и съ міромъ въ Церкви, можемъ мы дѣлать настоящее Божье дѣло,—то, что Достоевскій называлъ *православнымъ дѣломъ*.

Православное дѣло.

Если христіанство есть религія спасенія, если христіанская идея состоитъ въ исцѣленіи, внутреннемъ соединеніи тѣхъ началъ, розни которыхъ есть гибель, то сущность истиннаго христіанскаго дѣла будетъ то, что на логическомъ языкѣ называется *синтезомъ*, а на языкѣ нравственномъ—*примиреніемъ*.

Этою общею чертою обозначилъ Достоевскій призваніе Россіи въ своей Пушкинской рѣчи. Это было его послѣднее слово и завѣщаніе. И тутъ было нѣчто гораздо бо̀льшее, чѣмъ простой призывъ къ мирнымъ чувствамъ во имя широты русскаго духа,— здѣсь заключалось уже и указаніе на положительныя историческія задачи, или, лучше, обязанности Россіи. Не даромъ тогда почувствовалось и сказалось, что упраздненъ споръ между славянофильствомъ и западничествомъ,—а упраздненіе этого спора значитъ упраздненіе *въ идеѣ* самого многовѣкового историческаго раздора между Востокомъ и Западомъ,—это значитъ найти для Россіи новое нравственное положеніе, избавить ее отъ необходимости продолжать противохристіанскую борьбу между Востокомъ и Западомъ, и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить и Востоку и Западу, примиряя въ себѣ обоихъ.

И не придуманы для Россіи эта обязанность и это назначеніе, а даны ей христіанскою вѣрою и исторіей.

Споръ Востока и Запада. Раздѣленія между Востокомъ и Западомъ въ смыслѣ розни и антагонизма, взаимной вражды и ненависти—такого раздѣленія не *должно* быть въ христіанствѣ, и если оно явилось, то это есть великій грѣхъ и великое бѣдствіе. Но именно въ то время, какъ этотъ великій грѣхъ совершался въ Византіи — раждалась Россія для его искупленія. Принявъ отъ Византіи православное христіанство, должна ли Россія вмѣстѣ съ Божьей святыней усвоить себѣ навсегда и историческіе грѣхи Византійскаго царства, приготовившаго свою собственную гибель? Если вопреки полнотѣ христіанской идеи Византія снова возбудила великій міровой споръ и стала въ немъ на одну сторону—на сторону Востока, то ея судьба намъ не образецъ, а урокъ.

Положеніе Россіи и ея христіанская задача. Изначала Провидѣніе поставило Россію между нехристіанскимъ Востокомъ и западною формою христіанства—между *басурманствомъ* и *латинствомъ*; и въ то время, какъ Византія въ односторонней враждѣ съ Западомъ, все болѣе и болѣе проникаясь исключительно восточными началами и превращаясь въ азіатское царство, оказывается одинаково безсильною и противъ латинскихъ крестоносцевъ, и противъ мусульманскихъ варва-

ровъ, и окончательно покоряется послѣдними, — Россія съ рѣшительнымъ успѣхомъ отстаиваетъ себя и отъ Востока, и отъ Запада, побѣдоносно отбиваетъ басурманство и латинство. Эта внѣшняя борьба съ обоими противниками была необходима для внѣшняго сложенія и укрѣпленія Россіи, для образованія ея государственнаго *тѣла*. Но вотъ эта внѣшняя задача исполнена, тѣло Россіи сложилось и выросло, чуждыя силы не могутъ поглотить его—и старый антагонизмъ теряетъ свой смыслъ. Россія достаточно показала и Востоку и Западу свои физическія силы въ борьбѣ съ ними,— теперь предстоитъ ей показать имъ свою духовную силу въ примиреніи. Я говорю не о внѣшнемъ сближеніи и механическомъ перенесеніи къ намъ чужихъ формъ, какова была реформа Петра Великаго, необходимая только какъ подготовленіе. Настоящая же задача не въ томъ, чтобы *перенять*, а въ томъ чтобы *понять* чужія формы, опознать и усвоить положительную сущность чужого духа и нравственно соединиться съ нимъ во имя высшей всемірной истины. Необходимо примиреніе *по существу*, существо же примиренія есть Богъ, и истинное примиреніе въ томъ, чтобы не по человѣчески, а „по божьи“ отнестись къ противнику. Это тѣмъ настоятельнѣе для насъ, что теперь оба наши главные противника уже не внѣ насъ, а въ нашей средѣ. Латинство въ лицѣ Поляковъ и басурманство, т.-е. нехристіанскій Востокъ, въ лицѣ Евреевъ вошли въ составъ Россіи, и если они намъ враги, то уже враги внутренніе, и если съ ними должна быть война, то это ужъ будетъ война междоусобная. Тутъ уже не одна христіанская совѣсть, но и человѣческая мудрость говоритъ о примиреніи. И недостаточно здѣсь мирныхъ чувствъ къ противникамъ, какъ къ людямъ *вообще*, ибо эти противники не суть люди *вообще*, а люди совершенно *особенные*, съ своимъ опредѣленнымъ характеромъ, и для дѣйствительнаго примиренія нужно глубокое пониманіе именно этого ихъ особаго характера,—нужно обратиться къ самому ихъ духовному существу и отнестись къ нему по божьи [1]).

[1]) Изъ сказаннаго, мнѣ кажется, ясно, что дѣло идетъ *не объ уступкахъ и компромиссахъ* во внѣшней борьбѣ (церковно-политической и національ-

Примиреніе съ католичествомъ и іудействомъ.

Духовное начало Поляковъ есть католичество, духовное начало Евреевъ есть іудейская религія. Истинно примириться съ католичествомъ и іудействомъ значитъ прежде всего отдѣлить въ нихъ то, что̀ отъ Бога, и то, что̀ отъ человѣковъ. Если въ насъ самихъ живъ интересъ къ дѣлу Божію на землѣ, если Его святыня дороже для насъ всѣхъ человѣческихъ отношеній, если мы пребывающую силу Божію не кладемъ на одни вѣсы съ преходящими дѣлами людей, — то сквозь жесткую кору грѣховъ и заблужденій мы различимъ печать Божественнаго избранія, во-первыхъ, на католичествѣ, а затѣмъ и на іудействѣ. Видя, что Римская церковь и въ древнія времена одна стояла твердою скалою, о которую разбивались всѣ темныя волны анти-христіанскаго движенія (ересей и мусульманства), видя, что и въ наши времена одинъ Римъ остается нетронутымъ и непоколебимымъ среди потока анти-христіанской цивилизаціи, и изъ него одного раздается властное, хотя и жесткое слово осужденія безбожному міру, мы не припишемъ этого одному какому-то непонятному человѣческому упорству, но признаемъ здѣсь и тайную силу Божію; и если Римъ, непоколебимый въ своей святынѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ стремясь привести къ этой святынѣ все человѣческое, двигался и измѣнялся, шелъ впередъ, претыкался, глубоко падалъ и снова вставалъ, то не намъ судить его за эти претыновенія и паденія, потому что мы его не поддерживали и не поднимали, а самодовольно взирали на трудный и скользкій путь западнаго собрата, сами сидя на мѣстѣ, и, сидя на мѣстѣ, не падали. Если намъ все человѣчески-дурное, все мелкое и грязное такъ бросается въ глаза, если мы такъ явственно и отчетливо видимъ весь этотъ прахъ земли, а все божественное и святое для насъ напротивъ незамѣтно, темно и невѣроятно, то это значитъ только, что въ насъ самихъ мало Бога. Дадимъ Ему больше мѣста въ себѣ и увидимъ Его яснѣе въ другомъ. Тогда увидимъ Его

нальной), а объ устраненіи внутренней *причины* этой борьбы чрезъ духовное примиреніе на почвѣ чисто-религіозной. Пока религіозное внутреннее единство не возстановлено, до тѣхъ поръ политическая и національная борьба остается въ своихъ правахъ.

силу не только въ католической церкви, но и въ іудейской синагогѣ. Тогда мы поймемъ и примемъ слова Апостола объ Израильтянахъ: „у нихъ усыновленіе и слава, и завѣты, и законоположеніе, и служеніе и обѣтованія; ихъ же отцы, и отъ нихъ же Христосъ по плоти, сущій надъ всѣми Богъ... Или отринулъ Богъ людей своихъ? Да не будетъ! Не отринулъ Богъ людей своихъ, которыхъ прежде зналъ... Но чтобы вы не гордились, не хочу оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи о тайнѣ, что ослѣпленіе было Израилю отчасти, доколѣ не войдетъ полнота народовъ. И тогда весь Израиль спасется... Ибо Богъ заключилъ всѣхъ въ противленіе, чтобы всѣхъ помиловать“.

Воистину, если для насъ слово Божіе вѣрнѣе всѣхъ человѣческихъ соображеній, и дѣло царствія Божія дороже всѣхъ земныхъ интересовъ, то передъ дами открытъ путь примиренія съ нашими историческими врагами. И не будемъ говорить: пойдутъ ли на миръ сами наши противники, какъ они къ этому отнесутся и что̀ намъ отвѣтятъ? Чужая совѣсть намъ неизвѣстна, и чужія дѣла не въ нашей власти. Не въ нашей власти, чтобы другіе хорошо относились къ намъ, но въ нашей власти быть достойными такого отношенія. И думать намъ должно не о томъ, что̀ скажутъ намъ другіе, а о томъ, что̀ мы сами скажемъ міру.

Въ одномъ разговорѣ Достоевскій примѣнялъ къ Россіи видѣніе Іоанна Богослова о женѣ, облеченной въ солнце и въ мученіяхъ хотящей родити сына мужеска: жена — это Россія, а рождаемое ею есть то новое слово, которое Россія должна сказать міру. Правильно или нѣтъ это толкованіе „великаго знаменія“, но новое слово Россіи Достоевскій угадалъ вѣрно. Это есть слово примиренія для Востока и Запада въ союзѣ вѣчной истины Божіей и свободы человѣческой.

Вотъ высшая задача и обязанность Россіи, и таковъ „общественный идеалъ“ Достоевскаго. Его основаніе—нравственное возрожденіе и духовный подвигъ уже не отдѣльнаго, одинокаго лица, а цѣлаго общества и народа. Какъ и встарь, такой идеалъ не ясенъ для учителей Израилевыхъ, но въ немъ истина, и онъ побѣдитъ міръ.

PG 3328 .Z7 R4 1906 C.1
F. M. Dostoevskii,
Stanford University Libraries
3 6105 039 818 088

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

JUN 19 1995
JUN 26 1995

ES